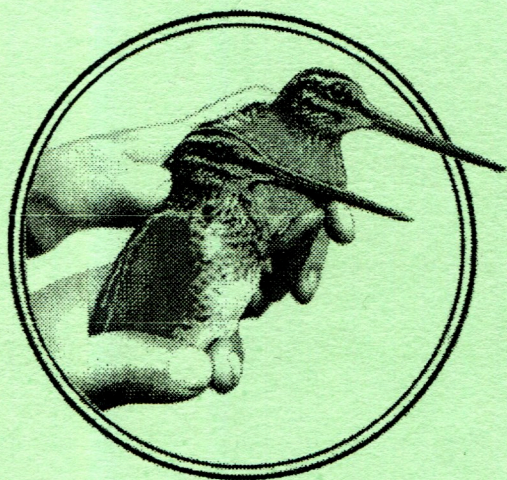


Владимир Паевский

ПТИЦЕЛОВЫ ОТ НАУКИ



Санкт-Петербург

2001

Владимир Паевский

ПТИЦЕЛОВЫ ОТ НАУКИ



Санкт-Петербург

2001

Владимир Паевский

Птицеловы от науки

Воспоминания куршского орнитолога





Чем крупнее добыча птицелова, тем чаще их фотографируют вместе.
Автор с ястребом-тетеревятником. Куршская коса, Двенадцатый, 1968.
Фото Д. Люлевой.

Владимир Паевский

Птицеловы от науки

Воспоминания куршского орнитолога

“The old saying of *Vox populi, vox Dei*,
as every philosopher knows, cannot be trusted in
science.”

*Charles Darwin. The Origin of Species
by means of Natural Selection.
London, 1895. Sixth Edition.*



Санкт-Петербург

2001

Vladimir Payevsky

A science-operated fowlers

Memoirs of a courish ornithologist

В.А. Паевский. Птицеловы от науки. Воспоминания куршского орнитолога. – С.-Петербург, 2001. 148 с. Илл. 98.

Мемуары написаны в год столетия со дня основания на Куршской косе первой в мире орнитологической станции Vogelwarte Rossitten и в год сорокапятилетия возобновления ее деятельности как Биологической станции Зоологического института в Рыбачьем. Автор – профессиональный орнитолог, доктор биологических наук. Основу книги составляют зарисовки характеров и настроений российских орнитологов, работавших на Куршской косе, и размышления автора о взаимоотношениях общества с орнитологами и любителями птиц.



© В. Паевский, 2001

Содержание

Зачем все это написано	7
От чечетки до Шмальгаузена	10
Биофак и студенческая суета	16
Не только птицы...	26
Извилистый путь на Куршскую косу	30
На Двенадцатом	35
Соратники по птичьей путине	63
- первооткрыватели	64
- шестидесятники	68
- свежая волна семидесятых	77
- рецентная штатная сукцессия	88
А была ли наука?	98
Орнитологи и политический режим	113
А власть приятнее всего?	119
Шерше ля фам	125
Родные прусские просторы	129
ЗИН	138
Литература о Биологической станции	146

Посвящается всем, кто родился орнитологом, всем, кого с детства неудержимо тянуло к разноцветным, кричащим, поющим, порхающим созданиям, всем, кому так хотелось дотянуться до их трепетных перьев, кому так хотелось подглядывать за их скрытой от чужих глаз жизнью ...

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО НАПИСАНО

Вновь пережить, душой вернуться вспять
Нам не дано. Лишь дальние зарницы
В мозгу усталом вдруг дают понять
Масштабы гроз и грохот Колесницы,
И сквозь окно в морозных лопухах
Постичь судьбы причудливые сгибы,
И тайный вкус любви, и жизнь всю впопыхах,
И груз ошибок, приносящий гибель.
В последний раз увидеть, как в кино,
Забытый пыл восторга и кипенья,
И тихо опустить себя на дно,
В глухую тину ватного забвенья...

Обычно история государства или история науки воспринимается прежде всего как перечень событий. Сами события, однако, - это прежде всего люди со своими неповторимыми чертами характера и внешности, со своими надеждами, страданиями, ошибками и разочарованиями. В воспоминаниях, изложенных в этой книжке, я пытаюсь описать не столько сами события, сколько сопутствующие им характеры и настроения участников этих событий, и вообще многое, что относилось к образу жизни людей, посвятивших себя постоянным занятиям с дикими птицами и проблемами науки о птицах. Эта книга – не о птицах, не о науке, а об орнитологах.

В нашей среде часто можно было слышать расхожее суждение о том, что орнитолог – не профессия, а образ жизни. По-видимому, в этом высказывании сконцентрировано то очевидное для нас соображение, что ради занятия орнитологией мы во многом пренебрегали теми обычными благами цивилизации, без которых немислим современный человек, а также и то, что в результате этого пренебрежения и самого рода занятий мы действительно часто представляли некими чудаками, как в глазах часто окружавших нас сельских жителей, так и в азартных глазах многочисленных

журналистов, для которых рассказ о птичках и птицеловах представал забавной изюминкой в ряду скучных репортажей о делах тружеников полей или станков.

Я называю себя куршским орнитологом потому, что основную часть (по времени и сути) своей профессиональной деятельности провел на Куршской косе. В этом благословенном уголке бывшей Восточной Пруссии я проработал на Биологической станции Зоологического института, судя по официальным документам, тридцать три года, но на самом деле провел на Куршской косе более сорока лет, по пять - шесть месяцев каждого года, поскольку приезжал и в свои студенческие, и в аспирантские годы, и в самые последние четыре года двадцатого века, когда уже числился штатным сотрудником не знаменитой «Биостанции Рыбачий», а не менее известного Зоологического института в Петербурге, к которому она принадлежала.

Воспоминания мои не претендуют ни на хронологическую выдержанность, ни на полноту охвата всех периодов жизни «птицеловов от науки» и близких к ним людей. Не всё, изложенное здесь, относится только к орнитологам Биостанции Рыбачий и только к Куршской косе. Студенческая жизнь на Биофаке и кафедре зоологии позвоночных, пребывание в экспедициях, участие в самых разных конференциях на нескончаемых просторах нашей бывшей страны и в других странах – всё это отдельными яркими эпизодами надолго оседало в памяти, а иногда и в душе. Желание рассказать об этом не только своим друзьям за кухонным или праздничным столом, но и тем, кто возьмется пролистать эту книжку, заинтересовавшись ее названием, и побудило меня ее опубликовать.

Многое из рассказанного будет касаться моей собственной жизни, не избилующей какими-то особенно яркими событиями, и это, видимо, неизбежно в любых мемуарах, хотя я вовсе не хотел описывать свой жизненный путь, тем более, что выражение «жизненный путь», широко распространенное во многих языках мира, считаю совершенно неправильным. Любой путь человека имеет свою конечную цель, и ради достижения этой цели человек способен, порой с физическими и душевными страданиями, преодолевать любые препятствия. «Жизненный путь» кончается смертью, а смерть не может быть целью всей жизни (ведь достичь такой цели очень просто на любом этапе пути в отличие от обратного – сохранения жизни). Упоминание о некоторых аспектах жизни моей собственной персоны, непосредственно не относящихся к орнитологии и птицам, считаю уместным лишь по одной причине – они связаны с именами очень известных людей, и это, возможно, может быть интересно не только орнитологам.

В качестве эпиграфов к разделам я использовал строки из своих стихотворений, поскольку на правах графомана писал стихи всю жизнь, и многие из них рождались под влиянием тех же обстоятельств и настроений, о которых идет рассказ. Разумеется, я не льщу себя надеждой встать на уровень известного орнитолога Ларса фон Хаартмана, который был и художником, и поэтом, издавшим четыре поэтических сборника. Однако я хотел бы почувствовать себя принадлежащим к славной плеяде пиитствующих коллег-зоологов родного института, которых, как недавно стало известно, немало. Более того, я не мог не привести здесь стихотворных строчек, написанных на Куршской косе.

Роберт Льюис Стивенсон, автор обязательного в детстве романа «Остров сокровищ» как-то заметил, что от литератора требуется выполнения двух обязанностей: быть верным действительности и изображать ее с добрым намерением. Я бы уточнил, что это требуется в первую очередь для мемуариста. Вполне возможно, что эмоциональная окраска тех или иных событий в моем изложении будет контрастировать с их значимостью для непосредственных участников. Я допускаю также, что некоторые посвященные читатели знают больше деталей или мотивов, касающихся взаимоотношений упоминаемых мной персон. Я даже могу себе представить, что эти взаимоотношения были несколько иными, чем это казалось со стороны, однако я твердо уверен, что мое восприятие характера и поведения моих коллег и друзей исходно всегда было доброжелательным. Несмотря на это, недовольных моими воспоминаниями будет, наверно, много. Читать о себе широко растиражированные реалии, в которых ты выглядишь не таким, каким бы ты сам хотел себя видеть, неприятно, даже если это относится к давно минувшим годам.

В человеческой памяти хранится многое, но иногда, как в компьютере, остается только название файла, а открыть его уже невозможно. С возрастом вероятность потери способности вспомнить и оценить событие (с тщетной попыткой объективности) неумолимо увеличивается, но появляется и неоспоримое преимущество раскрепощенности и независимости оценок, на которые уже не могут повлиять, хотя бы и подсознательно, никакие опасения негативно задеть и влиятельных персон, определяющих общественное положение автора, и своих коллег и друзей, тем более, что последних остается все меньше и меньше.

ОТ ЧЕЧЕТКИ ДО ШМАЛЬГАУЗЕНА

Над болотистым невским берегом
Мчит весенняя круговерть,
А в подснежниках возле дерева
Ржавой каской застыла смерть.
Я бреду по лесным дорогам,
Уцелевший щенок войны,
Надо мною в святых чертогах
Птицы тихо поют псалмы.

Когда я сейчас, на склоне моих быстротекущих лет, пытаюсь понять, каким же образом меня увлекло на всю жизнь в яркий и завораживающий мир птиц и древнейшую науку о птицах, меня, родившегося в семье филолога и чертежницы, в семье, где в книжных шкафах не было ни одной книги о природе, я вспоминаю один хмурый октябрьский день 1945 года. В этот день бабушка взяла меня с собой на рынок, который она называла Мальцевский. Не помню, да наверно и не знал я, что вообще продавалось на ленинградских рынках в эти первые послевоенные месяцы, и какова была цель нашего с бабушкой похода, но то, что я сразу же там увидел, и от чего уже не мог оторваться, были маленькие серовато-бурые птички с розовой грудью и красным пятнышком на темечке. Птички эти бурно суетились в маленьких клетках, непрерывно издавая щебечуще быстрые звуки «чэф-чече-чэф-чече». Лишь много позже я узнал, что эти птицы называются чечетки (как искренен народ, давший это точное имя!), что гнездятся они гораздо севернее Ленинграда, и что только во время кочевков в осенне-зимнее время посещают наши ленинградские леса. Хмурый мужик, продававший птиц, называл их малиновками. Разумеется, я пустил в ход всю свою детскую изворотливость, обещая бабушке всё, что может обещать первоклассник во второй месяц своих первых в жизни занятий в школе. Настойчивость моя была вознаграждена, и с рынка я шагал взбудораженный, с клеточкой в руках, где всё так же перепархивала, тыкалась клювом в прутья клетки и «чebetала» псевдомалиновка.

За первой птичкой последовали другие, сначала более эффектные, чем чечетки (снегири, чижи, щеглы), затем более трудные для домашнего содержания (московка, зарянка, черноголовка), и постепенно я понял, что только живя с птицами нос к носу, лицом к лицу, можно их по-настоящему понять и проникнуться тем особым чутьем, когда даже на улице грохочущего современного города, среди тысяч техногенных звуков, мозг мгновенно реагирует на позывку чижа, сидящего на березе за квартал от тебя, или на короткое цыканье певчих дроздов, проносящихся осенью в ночном небе над всеми нашими архитектурными громадами и бесконечной паутиной натянутых проводов.

Неистребимый воспитанием и обществом интерес к птицам постепенно переходил к более широкому знакомству с биологией, и вскоре на моих книжных полках уже стояли не только

популярные книги А.Н. Промптова, Л.Б. Беме, Е.П. Спангенберга и Г.П. Дементьева, но и «Орнитология» Л.М. Шульпина, «Эмбриология» Л. Барта и «Факторы эволюции» И.И. Шмальгаузена. Мое увлечение птицами не встречало полного сочувствия у моей семьи (они почему-то хотели видеть меня архитектором), но, к их чести, они и не препятствовали моим занятиям в этом отношении. Общество же наше в своем большинстве никогда не видело в людях, посвятивших себя, например, ловле и изучению насекомых, ничего кроме чудачков, эдаких Паганелей, с детской непосредственностью живущих своей отстраненной от реальности жизнью. Поразительно, насколько отличается в этом отношении наше советско-российское общество от западного. Чего стоит одно только явление так называемых «рождественских учетов» птиц в США и Канаде, когда тысячи любителей птиц, объединенных в региональные клубы, отправляются в рождественские каникулы на природу на своих машинах с единственной бескорыстной целью – полюбоваться естественной жизнью птиц с тайной надеждой обнаружить в своем районе что-либо необычное, залетевшее издалека. При этом они тщательно записывают, каких птиц, где и когда они наблюдали, а в случае регистрации действительных редкостей эту информацию оценивает специальная профессиональная комиссия. Стоит ли упоминать, что эти любители знают птиц в природе столь же совершенно, как и профессиональные орнитологи-фаунисты. Биологам остается лишь привести в систему все эти записи, и наука получает ценнейшие сведения о численности и территориальном распределении зимующих популяций.

Наряду с полной безграмотностью нашего обывателя в распознавании птиц в природе и неспособностью отличить не только кукушку от ястреба, но и самца от самки у домашних воробьев, постоянно находящихся перед глазами, в народе существует какая-то непонятная тяга к птичьим названиям, существующая в полном отрыве от реальных птиц. Все эти «гуси-лебеди», «ясны соколы», «сталинские соколы», горные орлы и соловушки – лишь слова, получившие вечную популярность в языке, а вовсе не сами птицы. Поэты, стремящиеся быть «ближе к народу», обязательно вставят в текст что-либо птичье (чего стоит только одно сочетание «нет, не те дрозды, не полевые»!). Да и сам народ в своих исконных песнях-плясках иногда вставляет полную несуслаицу. Так, в одной из народных песен, входящих в репертуар ставшего недавно знаменитым Олега Погудина есть слова: «В роще листья шумят, осыпаются, Канареечка поет, заливаётся». В каких русских рощах народ видел канареечку, или что он под этим названием понимает – полная загадка. Заглянув однажды в подшивку газеты «Книжное обозрение», я был поражен обилием книг, особенно поэтических, в названиях которых есть «орнитологическая тематика». Приведу здесь как наиболее вычурные, так и наиболее частые: «Птицы любви», «Холостые соловьи», «Зоревые соловьи», «Иволга над Волгой», «Ворон-птица зимняя», «Четырехкрылая птица», «Зеленые воробушки», «Воробей-птица морская», «Зов разлученной птицы», «Орлята», «Ястребята», «Соловьята», «Аисты вернутся», «Орлы гибнут в вышине», «К кому прилетают аисты». Особенно повезло журавлям и жаворонкам: «Ранние журавли», «Белые журавли», «Журавль небесный», «Журавль, упавший с неба», «Журавлиное крыло», «Журавлиный крик», «Сын-журавль», «Возвращайтесь, журавли!».

«Охота на последнего журавля», «Журавли над окопами», «Песня жаворонка», «Час жаворонка», «Высокие жаворонки», «Жаворонок, прилети», «Держава ранних жаворонков» и т.д. и т.п.

Лишь орнитолог может заметить, что у разных народов образ птицы, примененный к характеристике человека, может быть совершенно разным. Если мы в России о разине и простофиле скажем (и совершенно несправедливо): «Эх ты, ворона!», то немец о том же человеке наверняка скажет: «Эх ты, снегирь!» Как тут не вспомнить описание Максимом Горьким снегирей из его птицеловного детства: «Важные снегيري – глуповаты: они идут в сеть целой стаей, как сытые мещане в церковь».

Со времен Шекспира существовало словечко *birding*, означавшее, судя по тексту, например, «Виндзорских проказниц», не только охоту и ловлю птиц, но и просто наблюдения за птицами (теперешнее *bird-watching*). Эту пылкую любовь к наблюдениям за птицами можно сравнить в нашем российском обществе лишь со страстью к подледному рыболовству, когда тысячи людей с риском для жизни устремляются на далеко не всегда надежный лед, сидят на нем целыми сутками, и испытывают леденящее чувство прощания с жизнью, когда льдина раскалывается и их уносит от берега. Их спасают (но далеко не всех), но через неделю, несмотря на сообщения о количестве погибших рыболовов, они вновь оказываются на льду... Такую всепоглощающую неразумную любовь проявляют именно рыболовы, т.е. любители, в отличие от рыбаков-профессионалов.

Еще с детства я испытывал некоторую неловкость, пытаясь объяснить взрослым, почему мне интересно, например, глазеть на ворон. Апофеозом явилось наставление меня уму-разуму жильцом, которому мама сдавала по нашей послевоенной бедности одну из двух комнат в тихой коммуналке в Бугском переулке на углу Пятой линии. Этот майор с удивительно звучным и совсем неподходящим ему именем Ювеналий Максимилианович застал меня однажды за налаживанием западни на подоконнике. Ответив на его недоуменный вопрос о предназначении клетки, с которой я возился, я испытал на себе всю мощь казарменно-уставного порядка жизни, к которому, оказывается, должна была стремиться вся советская молодежь. Мои попытки вставить что-то насчет науки орнитологии еще более распалили моего наставника, который, за неимением под рукой собственных детей, решил выместить на мне весь свой неистраченный пыл воспитателя. В последней попытке оградить себя от майора, громыхающего что-то о великовозрастных бездельниках и лоботрясах, я задал ему, как мне казалось, сакраментальный вопрос, знает ли он, что такое «авицептология». Словечко это я, к своему удивлению и радости, вычитал перед этим в одном из старинных словарей, которые так любил собирать, по словам мамы, мой отец (отца я совсем не помнил, поскольку с войны он не вернулся). Авицептология означала, ни мало ни много, «науку о ловле птиц». Майор воспринял мой вопрос как оскорбление чести и мундира, и не знаю, чем бы завершилась эта сцена, если бы я не счел за благо ретироваться с западной подмышкой.

Убежал я тогда на квартиру своей бабушки, у которой жил все десять школьных лет, на Фонтанке недалеко от Летнего сада. Именно в Летнем саду, а также и в скверике между цирком и Инженерным замком, прозванным Собачьим садиком, я получал свои первые орнитологические впечатления. В этом запущенном и совершенно заросшем после войны сквере я однажды обнаружил,

как это ни удивительно, гнездо сорокопуга-жулана с птенцами перед вылетом и, схватив одного слетка, помчался домой. Утром следующего дня, увидев птенца мертвым, я впервые испытал щемящее чувство невозвратимости потери и свое бессилие. Засев за популярную литературу, я стал с особой тщательностью вчитываться в описание образа жизни птиц, и именно тогда понял, что многие авторы просто переписывают друг у друга основные сведения. Это и поразило, и в то же время обрадовало меня – я понял, что даже в этом, казалось бы, простом деле, есть возможность проявить себя, добившись настоящих знаний на основе своего собственного опыта.

Первую моральную поддержку в своих орнитологических устремлениях я получил, как ни странно, не от биолога, а от историка и этнографа, выдвинувшего концепцию пассионарности и ставшего очень популярной личностью в последние годы жизни – Льва Гумилева. Учился я в 199-й школе (ныне – Государственная гимназия при Русском музее), находящейся в красивейшем месте города – на площади Искусств и составляющей единое архитектурное целое со знаменитым домом Виельгорского, где часто бывали и Пушкин, и Глинка, и Брюллов. Из школы я часто забегал к своему школьному приятелю, Саше Никитину, жившему рядом со школой, во дворе Музея этнографии, в небольшой коммунальной квартире 5-а, одну комнату в которой и занимал Гумилев. Уже тогда я узнал, что это сын Гумилева и Ахматовой, и приглядывался к нему с большим вниманием, чем просто к Сашкиному соседу. Однажды, когда мы с Сашей играли в шахматы, Гумилев зашел по какому-то делу, и взглянув на доску, сказал, что для меня ситуация безнадежна. В незначительном разговоре по этому поводу Саша почему-то упомянул про мой интерес к птицам, и вот тогда я впервые получил из уст взрослого и особо уважаемого человека полное одобрение моей увлеченностью.

Эта детская увлеченность в конце концов завела меня по кривым дорожкам в 1953 году в кружок юных зоологов при Ленинградском зоопарке, и, как это ясно мне только теперь, работа в зоопарке окончательно вытеснила все жалкие попользования моих других жизненных интересов. Важным стимулом в этом оказалось общение и с Верой Андриевской, и с Александром Паринкиным, но более всего – с Глебом Изюмовым, несколько странной, чудаковатой и очень яркой личностью, руководителем и вдохновенно-смешным учителем всех наших кружковцев, очень разных и по возрасту, и по социальному происхождению, и по планам дальнейшего образования (был среди нас и Игорь Дмитриев, широко известный теперь питерский народный артист). И в дальнейшем, уже будучи студентом, а позднее и аспирантом, я поддерживал временами деловые отношения не столько с самим Зоопарком, сколько с людьми, навсегда связавшими с ним свою судьбу – Натальей Гергилевич, всегда оживленно-энергичной и деятельной, и Олегом Смирновым – несколько грубоватым, но всегда неизменно доброжелательным и дружески-общительным оптимистом эффектного облика.

Разумеется, в те советские школьные годы, когда я, помимо «мичуринской» биологии, проявлял умеренный интерес и к лингвистике, я и представить себе не мог, что вся моя жизнь будет теснейшим образом связана не только с птицами, но именно с их ловлей (хотя отнюдь не обычными птицеловными снастями), и что это станет неотъемлемой частью моей профессиональной работы в

науке. Не мог я и вообразить, что эта работа по отлову многих и многих тысяч птиц огромными сетями будет похожа скорее на какое-то утомительное поточное производство, чем на то, чем я занимался в детстве, когда каждая попавшая в «западок» птичка вызвала радостное биение сердца и звучные восторги.

Орнитология в те годы постепенно меняла свой привычный облик. В девятнадцатом веке и в начале двадцатого обычной фигурой в орнитологии был постоянно пребывающий в походах мужественный путешественник с ружьем в руках, отстреливающий за день не один десяток птиц, а вечерами препарирующий их для изготовления коллекционных тушек. Его научные интересы обычно лежали в области систематики и зоогеографии, а научные труды, помимо сводок с названием «Птицы ... такой-то губернии» были рассыпаны в виде небольших заметок, подчас с интригующими заглавиями типа «О яйцах и птенцах мартышек», в журналах «Псовая и ружейная охота», «Природа и охота» и почему-то «Семья охотников». Авторитетными фигурами и примерами для подражания в те времена были великий и известный всем Н.М. Пржевальский, и не менее известные, но только зоологам П.С. Паллас, М.А. Мензбир, Н.А. Зарудный, Н.А. Северцов, С.А. Бутурлин, П.П. Сушкин. Об их работе, об их всепоглощающей страсти к изучению фауны неизвестных земель ярко свидетельствуют книги Николая Зарудного о его неоднократном путешествии в Иран в самом конце XIX века. Этот замечательный русский путешественник и орнитолог, хорошо владевший не только ружьем, но и пером, собрав огромный и уникальный научный материал в первой же экспедиции, тем не менее написал: «Да простится мне скудность моей добычи! – я не мог собрать больше и не от меня это зависело...». В другой же книге он пишет: «...слышу хлопанье крыльев, вижу какого-то незнакомого ястреба, стремительно вылетающего из чащи, и валю его метким выстрелом. Бегу к своей добыче и с восторгом узнаю в ней индо-малайского *Butastur teesa*. Вслед за громом выстрела слышу резкие незнакомые крики; поспешно подобрав убитую птицу, я мчусь туда, откуда они раздаются, неожиданно испугиваю какую-то куропатку и, застрелив ее, признаю в ней *Ortygornis pondicerina*, которую до сих пор еще никогда не держал в руках. Радости моей нет границ, и я торжествую...»

Не могу удержаться, чтобы не привести здесь и соответствующие воспоминания орнитолога Константина Воробьева об охоте в окрестностях Биологической станции Борок на Рыбинском водохранилище в 1953 году: «В это утро, уже после окончания тока, В.В. Аверкиев застрелил налетевшего на него глухаря. Мы довольно долго вместе искали его по болоту и, наконец, я наткнулся на убитого глухаря, лежавшего с распростертыми крыльями на земле. Прекрасная, могучая птица!». (Так и подмывает добавить: была!). Разумеется, систематика, и прежде всего филогенетическая система организмов – база для биологии вообще, а коллекционные тушки – основа для изучения систематики. И все же каждый раз, осматривая тушки, меня не покидало острое желание посмотреть этих птичек живыми – ведь тушки потеряли такие важные для систематики признаки, как голос, цвет глаз и многое другое, не говоря уже о неповторимом облике, поведении и самой «стате» птицы.

К середине двадцатого века в русской орнитологии всё больше появляется публикаций по экологии птиц, их линьке, миграциям, поведению, голосу, физиологическим механизмам сезонных явлений. Орнитолог уже не обязательно хорошо смотрелся только с ружьем и биноклем. На фотографии Александра Промптова, помещенной в его монографии о биологических адаптациях поведения птиц, автор изображен в белом халате, с пинцетом в руках, возле установки по регистрации двигательной активности птиц. Всё больше появлялось и тех орнитологов, чья основная и часто фанатическая устремленность состояла не в стрельбе по всему, что мелькнуло перед глазами, а в изучении живых пойманных птиц, дабы после осмотра и кольцевания выпустить их на волю и наблюдать за их жизнью в родном местообитании.

Кольцевание птиц, а в особенности всякое цветное мечение, постепенно становилось необходимым этапом при исследованиях не только сезонных миграций, но и всех аспектов жизни долговременно наблюдаемой популяции (очень хотелось знать, например, кто с кем сошелся, куда исчезла супруга самого залиvistого вокалиста, почему папаша перестал кормить птенцов и т.д. и т.п., и казалось бы, детская забава – подсматривание за интимной жизнью этих порхающих хрупких созданий – превращалась в увлекательное постижение смысла ранее никогда не познанных явлений). К моменту моего окончательно созревшего решения стать орнитологом кольцевание птиц (а именно это нехитрое с первого взгляда занятие в дальнейшем определило всю мою жизнь) уже довольно широко проводилось в нашей стране, хотя началось лишь в первом десятилетии века. О том, как воспринималось кольцевание птиц биологами в начале века, лучше всего говорит название одной статьи в журнале по птицеводству за 1915 год: «Третий опыт кольцевания птиц Кружком любителей правильной охоты студентов Лесного института в даче Комаринского и Томтовского обходов Чащинского лесничества Лужского уезда Петроградской губернии».

БИОФАК И СТУДЕНЧЕСКАЯ СУЕТА

Вожделенный студенческий край,
Мир надежды и чистой науки,
Как я жаждал увидеть твой рай
И отдать себя в мудрые руки.
Как широк твой большой коридор,
Как прекрасны Двенадцать коллегий,
Но скрипят и скрипят, как укор,
Все колеса научной телеги...

Ко времени моего поступления в 1955 году на Биолого-почвенный факультет Ленинградского Университета в стране всё еще продолжалась вакханалия лысенковщины, и, естественно, все мы в школе были напичканы безумными откровениями «главного биолога страны», с дубиной в руках и партийным аппаратом в голове боровшегося с генетикой под селекционным знаменем самой передовой в мире «мичуринской биологии». Можно поэтому понять ошеломляющее изумление нас, жалких первокурсников, когда сам Михаил Лобашев, начиная читать свой курс генетики, порекомендовал нам полностью забыть то, чему нас учили в школе, а смелый и мудрый Армен Тахтаджян в первой же фразе своей первой лекции по ботанике провозгласил с легким армянским акцентом: «я – вейсманист-менделист-морганист!», что в то время было почти равносильно фразе «я – антисоветчик!» И действительно, мы оказались в счастливом окружении настоящих ученых, к тому времени испивших полную чашу моральных и физических страданий за свои научные убеждения. Возможно, некоторые из них и не смогли противостоять этому злу в полной мере, но подробностей мы, конечно, не знали. Мы никогда не проматывали и другие интересные лекции: и весьма приятно заикающегося Юрия Полянского, и артистично закидывающего непокорную прядь волос Бориса Токина, и круглоголового, всего пропитанного математическим духом, высокомерного Павла Терентьева (подписавшего мне, по моей просьбе, свою книгу «Герпетология» не иначе как “Scientia est Potentia!”).

Что же касается Трофима Лысенко, то этот примитивный механоламаркист, жестоко управляющий судьбами биологов всей страны, и, по-видимому, действительно полагавший, что адаптивные модификации наследуются, пришел к абсурдной мистически-пещерной вере, что сосна может переродиться в ель и наоборот, а кукушка это не вид, а случайное порождение других видов птиц. Эти сумасшедшие заявления, сделанные в научной среде, дали замечательный повод к всяческому зубоскальству. Не прошли мимо этого и устроители традиционного прощального выпускного концерта «Говорит пятый курс» в 1960 году, в котором я имел счастье участвовать. Среди прочего мы пели (на мотив известной детской песенки «Мы едем, едем, едем в далекие края») и следующие слова: «Из пеночки - в кукушку, из елочки - в сосну! Почешешь тут макушку, помянешь сатану...» В заключение вечера четверо жилистых мужиков, один из которых был нашим

преподавателем, одетых в соответствующие бальные костюмы, самозабвенно исполнили «Танец маленьких лебедей»...

Студенческая жизнь первокурсников сразу же выявила собратьев по интересам, и я с большой радостью узнал, что по крайней мере еще двое также собираются посвятить себя орнитологии. Это был Георгий Носков и приехавший из Свердловска Виктор Дольник. В памяти осталось первое и единственное посещение дачи Носкова в Мельничном ручье вместе с Дольником, когда мы сначала пытались ловить каких-то птиц в саду, а потом, за оградой участка, среди сосен, наблюдали за действиями большого пестрого дятла и вели диспут о том, почему же «не болит голова у дятла», если он подвергает ее такому мощному и постоянному сотрясению. Худощавый, с четко обозначенными скулами и слегка вздернутым носом, решительно и динамично отстаивающий свои взгляды и решительно жестикулирующий своими, как казалось, несоразмерно длинными руками Дольник, и степенный, половатый, располагающий ожидать доброты и уступчивости, однако неожиданно эмоционально возгорающий и не допускающий никому и никаких уступок в споре и вообще в жизни Носков... Такими они, по моему восприятию, остались и до сих пор. Судьба свела меня с Дольником на всю мою жизнь, и на Куршской косе (где все мы жили на Биостанции почти что одной большой семьей вместе с другими выпускниками кафедры зоологии позвоночных - Диной Бекжановой, вскоре ставшей Люлеевой, Татьяной Блюменталь – первой супругой Дольника, Марком Шумаковым и Натальей Виноградовой, и другими, появившимися там позже), и в Ленинграде, где в Зоологическом институте мы проводили каждую зиму, и даже в кооперативном доме на северной окраине Ленинграда, куда я поселился одновременно с Дольником и четой Шумаков - Виноградова. Именно Дольник (а называли мы его в глаза и за глаза чаще всего по фамилии, а не по имени – настолько, видимо, удобно было ее произносить) определил, как теперь мне это понятно, очень многое в моей научной, и не только научной, судьбе. В большинстве своем это были положительные аспекты, хотя в некоторые моменты за тридцать с лишним лет чувства мои от дружеских переходили в полную противоположность – ведь он был для меня не только сокурсником и коллегой, но и непосредственным начальником, а власть всегда наталкивается на недовольство и противодействие.

Несмотря на постоянную студенческую суету и многоликую занятость, мы все же находили время для соприкосновения с птицами. Разговоры на орнитологические темы, поиск птичьих гнезд, постоянные заботы о птенцах, которых мы всегда почему-то выкармливали, иногда по целым дням таская их с собой в коробочках – вся эта околонуучная возня занимала нас и в Старом Петергофе, где проходила весной 1956 года студенческая практика, и летом того же года в Казахстане на целинных землях, куда почти весь наш курс привезли в грузовых вагонах, и, наконец, в 1957 году в учлесхозе «Лес на Ворскле» в Белгородской области, где полтора летних месяца мы наслаждались природой, свободой и бесконечной студенческой «тусовкой», как это принято называть сейчас.

В парке Биологического института в Старом Петергофе я неожиданно заслужил похвалу Носкова, которого я считал, и, как оказалось потом, вполне справедливо, более опытным по части знания птиц в природе. Мы с ним и Дольником шли через парк, и Носков показывал нам найденные им гнезда, в основном гнезда рябинников. Временами я, указывая на пропущенное при показе гнездо,

спрашивал, почему же оно не было отмечено. Когда таких гнезд набралось штук шесть, Носков сказал мне что-то в духе того, что моё желание стать орнитологом вполне обоснованно. Не знаю, пользуется ли сейчас профессор Носков тем же критерием при оценке своих студентов, но тогда похвала сокурсника мне весьма польстила. Впоследствии я специально стал развивать эту свою способность отыскивать, вернее, видеть птичьи гнезда, что оказалось весьма полезным и при обычной полевой работе, и даже в провинции Наталь в Южной Африке, где я экскурсировал вместе с другими членами Программного Комитета XXII Международного орнитологического конгресса весенним октябрём 1995 года.

А в том далеком 1956 году в Старо-Петергофском парке, среди полуразрушенных тогда дворцовых строений, мы для каких-то целей выкармливали целую кучу ворон, галок и других птиц. На фотографиях, которые я обнаружил в своем архиве, запечатлены два моих сокурсника, прилежно занятые этой деятельностью, ныне профессора Виктор Дольник и Алексей Константинов. Первый, сующий корм в раскрытую пасть вороны, деловит и хмур, а второй, протягивая своей обнаженной натренированной рукой пинцет с мухой жалкому заморышу белой трясогузки, иронически улыбается.

Пребывание на целинных землях Казахстана, в Атбасарском районе, и даже сам процесс передвижения туда почти всего состава нашего первого курса в эшелоне через всю страну стал для нас одним из ярких и запоминающихся событий. Повезли нас туда в то время, когда по плану мы должны были находиться на летней практике по высшим растениям. Видимо, кто-то из советского руководства посчитал, что общение с одной лишь пшеницей заменит нам всю ботанику. Увы, негативные последствия такой замены я ощущал еще очень долго. Еще раз подтвердилась известная мысль о том, что даже при минимальном учебном напряжении само пребывание на занятиях дает ту основу, без которой любая наука кажется совсем чуждой.

Что же касается полевой орнитологии, то с ней, в противоположность ботанике, было всё в порядке, т.к. и там, среди степной жары, мы продолжали с не меньшим жаром вариться в котле птичьих дел и околонуточных занятий, тем более, что времени было предостаточно. Оказалось, что привезли нас очень рано, хлеб еще не созрел, и хоть какую-то работу для нас долго не могли найти. Мы испытали большое потрясение сразу же после приезда, когда в целинном поселке, продуваемом всеми ветрами и полужанесенном пылью, нам вручили мётлы и заставили подметать «улицы», т.е. пространство между строениями с колеями от машин. Поднятые нами тучи плотной желто-красноватой пыли были столь высоки, что некоторые обитатели совхоза Мариновский действительно попрятались, как они решили, от пыльной бури.

Несмотря на то, что я впервые оказался в нескончаемых степях Северного Казахстана, меня не оставляло чувство чего-то близкого и знакомого, пока я, наконец, не понял, что когда я совсем мальчишкой три летних сезона провел с мамой у ее отца Ивана Непаридзе на Кубани недалеко от Армавира, я испытывал тогда те же ощущения постоянного желания спрятаться от слепящего солнца и сухой ветреной жары, хотя в Казахстане жары временами вовсе не было, и мы даже ходили в ватниках. Кубанские луга и степи мне тогда запомнились прежде всего обилием перепелов, и теперь

всегда при звуках перепелиного «боя» мне вспоминается детство. На целине же, в районе нашего пребывания, никаких перепелов не было, а повсюду были лишь белокрылые и черные жаворонки. Стремление узнать что-либо о других птицах тех мест, куда нас забросили «убирать урожай в закрома родины» (а занимались мы чем угодно, но только не пшеницей), заставляло нас регулярно посещать небольшое озеро с тростниковыми зарослями. Однако и там, насколько мы поняли, орнитофауна не отличалась многообразием, поскольку из крупных птиц там были только болотный и степной луни да болотная сова.

Наиболее интересным животным, по степени внимания всех наших студентов, безусловно был байбак. Этот крупный толстый зверь с как-то не очень подходящим к массивному телу длинным и объемистым хвостом, встречался там во множестве. Некоторых, и в частности, Георгия Носкова, не покидало неумное желание поймать его, что сделать было довольно затруднительно, ибо байбак мгновенно скрывался в своих многочисленных норах при первых же признаках опасности. Однажды, когда мы тряслись в открытой полуторке по бесконечной и однообразной типчаковой степи, Носков с неожиданной для него грацией внезапно выпрыгнул из кузова и стремглав помчался куда-то прочь от дороги. Пораженные, мы не сразу заметили, что в том же направлении вслед за Носковым мчится байбак, взмахивая своим нелепым хвостом. Бежали они, как сразу же выяснилось, к одному и тому же месту – к байбачьей норе. Носков оказался резвее, он с размаху плюхнулся задом на вход в нору и что-то восторженно заорал, а байбак стал носиться вокруг него, издавая странные, как бы выдавливаемые изнутри звуки. Тут и мы, наконец, попрыгали с грузовика, и после нескольких неудачных попыток загулявший хозяин норы был, наконец, в наших руках. Интерес к этому зверю, видимо, был настолько велик, что впоследствии он был привезен Носковым в Ленинград и какое-то время содержался в его квартире, к счастью отдельной и довольно вместительной.



Георгий Носков, пока еще стройный, с болотной совой на целинных землях.

Атбасарский район, Казахстан, 1956. Фото автора.

На целине я был одним из немногих, у которого на плече постоянно болтался фотоаппарат, но мои попытки фотографировать птиц не давали желаемого результата. Обладание камерой было единственной причиной, по которой я был приглашен на свадьбу, проходившую в поселке. Исполнив возложенные на меня обязанности по увековечиванию на фото пленке молодоженов и их многочисленных целинных собутыльников, я по своей наивности полностью отдался в их гостеприимные руки, и в течение вечера самочувствие мое становилось всё лучше и лучше с каждой кружкой браги местного приготовления, пока я не собрался домой. Пытаясь встать из-за стола, я вдруг четко осознал, что вместо ног у меня образовались какие-то ватные отростки. Дальнейший ход событий я узнал только на следующий день от своих коллег. В тихий вечерний час, когда ветер уже стихает, а солнце прекращает свое изнурительное воздействие, Виктор Дольник с Александром Емельяновым прогуливались по степи вдали от поселка, по обыкновению своему ведя продолжительные натурфилософские беседы. Заметив на горизонте человеческую фигуру и увлеченные беседой, они не сразу заметили, что фигура исчезла. Поскольку степь была плоской, как стол, без признаков каких-либо всхолмлений, это исчезновение показалось им странным, или, во всяком случае, достойным изучения. Прервав поэтому свой неторопливый разговор и разойдясь на значительное расстояние, они методично обшаривали глазами травянистое пространство, пока и не обнаружили меня, лежащего в ямке, единственной, по-видимому на многие квадратные километры, но точно соответствующей размерам моего брэнного тела, окончательно сломленного коварной целинной брагой.

Перебрасываемые из одних мест целинных степей в другие, занимаясь то чисткой свинарников, то строительством сараев, а иногда, по ночам, и тайным пожиранием незрелых арбузов, лёжа прямо на бахче и замирая при приближении луча прожектора, мы были по-своему счастливы, несмотря на вдалбливаемые нам в головы догмы советского образа жизни даже в этих степях. Наши лица на фотографиях того периода веселы и доброжелательны, особенно когда соседствуют с испуганными глазами зверей и птиц, старательно удерживаемых нами в фотогеничных позах.

Летом 1957 года, во время студенческой практики на Ворскле, возле поселка Борисовка, мы, «чокнутые» на птицах, как обычно, подбирали взявшихся откуда-то слетков, держали их в клетушках, коробочках и вольерках, выкармливая собранными по ходу учебных экскурсий насекомыми. Один из щеглов, выкормленных в то время и отличавшийся очень крупными размерами, прожил у меня в городе несколько лет и участвовал в выставке «Певчие и декоративные птицы», проходившей в одном из павильонов в саду Аничковского дворца, называвшегося тогда «Дворцом пионеров». На Ворскле в этом привычном для нас занятии перещеголял всех, конечно, Георгий Носков, который завел себе птенца серой цапли. Поскольку цапли кормят птенцов отрываемой полупереваренной рыбой, Носкову приходилось если не отрывивать, то, по крайней мере, жевать сырую рыбу перед ее скармливанием...

На Ворскле я более тесно, наконец, пообщался с Алексеем Мальчевским, ставшим моим официальным руководителем и в студенческой, и в аспирантской жизни. Это был светловолосый человек плотного телосложения с широким доброжелательным лицом, часто освещенным мягкой,



Лев Хозацкий и Алексей Мальчевский. Ленинградский Университет, кафедра зоологии позвоночных, 1966.



Свободная студенческая жизнь – «тусовка» без конца... Сверху вниз и слева направо: Георгий Сидоров, Юрий Широков, Виктор Дольник, Владимир Шмидт, Юрий Миничев, Георгий Носков, Юрий Пушкарев, Владимир Паевский, Ким Гамбург. Белгородская обл., Учлесхоз «Лес на Ворскле», 1957.

как бы слегка смущенной улыбкой, с мягкими интеллигентными манерами не только при обычном общении, но и при спорах на самые животрепещущие для него темы. Впрочем, справедливости ради, следует заметить, что и в твердости характера Мальчевскому нельзя было отказать, когда дело касалось вещей принципиальных. Его мягкое грассирование, конечно же, стало передразниваться студентами, но незлобно и почти дружески, и было особенно эффективным при произнесении подряд латинского и русского названия с катающимся «р»: “*Turdus merula*, Черный дрозд”. Обаяние Мальчевского было очевидным даже для мужской части студенческого общества, поэтому совершенно неудивительно, что некоторые наши студентки были по-настоящему в него влюблены, несмотря на разницу в возрасте в двадцать лет (хотя лишь одной из них хватило духу обнаружить перед нами свое чувство). Пройдя всю войну (а ушел он на фронт сразу же после защиты кандидатской диссертации), Мальчевский выжил, несмотря на ранения, благодаря любви к птицам: как рассказывали, он всегда в нагрудном кармане носил толстую записную книжку, куда заносил все свои орнитологические наблюдения, и один из потенциально смертельных осколков застрял именно там.

Научные устремления Мальчевского не выходили за пределы традиционной описательной зоологии в части, касающейся биологии размножения и территориального поведения птиц, включая биологическое значение пения, и многое, что вышло из-под его пера, в частности концепция о «консервативном и дисперсном типах эволюции популяций птиц» впоследствии или критиковалось, или как бы не замечалось теми, кто занимался проблемами территориальности и структурно-функциональной организации популяций. Когда я приходил к нему со своими записями и расчетами, особенно в течение аспирантской жизни, он, иронически, но как бы смущаясь, говорил, что писать надо так, чтобы не получалось, что «за цифрами птиц не видно». Стиль изложения как сугубо научных, так и популярных статей и книг, как ни странно, у Мальчевского был почти одинаков. Любили Алексея Сергеевича почти все, и ученики, и коллеги, и редакторы и издатели (особенно Издательства Ленинградского Университета, где публиковались его книги). Конфликты на научной и научно-организационной почве возникли у Мальчевского только с Носковым, уже в поздний период их общения, и вызваны они были, прежде всего, острым желанием последнего доказать свою правоту в видении необходимых путей развития университетской науки. С великим сожалением мне поведал об этом Юрий Пукинский, когда мы встретились с ним в скорбный день последнего прощания с Константином Юдиным.

Пукинский, этот замечательный питерский орнитолог, высокий, представительный, внешне - настоящий «лесной волк-следопыт», способный по-детски увлеченно рассказывать о своих путешествиях, прекрасный фотограф-анималист, владевший камерой лучше, чем пером, выпустивший вместе со своей такой же увлеченной съемками птиц первой супругой Эмилией Головановой много популярных книг с массой фотоизображений птиц, был непререкаемым авторитетом в полевой зоологии. Некоторые охотники, без тени иронии, называли его «учитель», как рассказал мне Алексей Неелов, ихтиолог Зоологического института и заядлый охотник. Таким же авторитетом в полевой орнитологии обладал и Мальчевский. В 1983 году вышла в свет долгожданная

книга - двухтомник «Птицы Ленинградской области» под авторством Мальчевского и Пукинского. Некоторые разделы этого издания были написаны, однако, другими университетскими орнитологами – выпускниками кафедры зоологии позвоночных и прекрасными специалистами Александром Бардиным, Владимиром Голованем, Иваном Ильинским, Сергеем Фетисовым, Владимиром Федоровым, Евгением Шутенко. В этой книге меня несколько удивили два обстоятельства, первое - отсутствие имени Георгия Носкова среди авторов, а второе – тщательно «скрытое» авторство перечисленных орнитологов: их имена, увы, не были указаны ни на обложке, ни на титульном листе, ни на его обороте, а нашли отражение лишь в тексте предисловия и мелким шрифтом в сносках... (С авторством иногда происходят удивительные вещи. Выпущенный четырем сотрудникам Биостанции Рыбачий определитель пола и возраста птиц цитируется на Западе исключительно как «Ильичев, 1976», хотя сам профессор Валерий Ильичев, означенный там как редактор, держал в руках рукопись этой книги лишь однажды в течение пяти минут – когда подписывал разрешительные бумаги на печатание. Все дело в совершенно разном отношении к фигуре редактора в нашей и в любой другой стране. У нас редактором можно только числиться).

С другими преподавателями и профессорами нашей кафедры зоологии позвоночных мне пришлось общаться меньше, но поведение некоторых из них было настолько эффективным и своеобразным, что отпечаталось в памяти навсегда. Профессор Георгий Новиков, круглолицый зубоскал и насмешник, своими пронизывающими острыми глазками вглядывался в каждого студента и особенно – в студенток. Ни одна лекция не обходилась без шуточек и прибауток, иногда довольно злых, но всегда точно в тему. Читая дипломные работы и редактируя статьи для кафедральных сборников, он обязательно приговаривал: «Вот переведем сейчас с аспирантского на русский...» Полной противоположностью Новикову, на первый взгляд, был Лев Хозацкий. Этот худощавый длинноносый человек держался всегда с подчеркнута военной выправкой, и даже более того – как будто он, как говорят в народе, «аршин проглотил», и это впечатление усиливалось тем, что он постоянно носил морской китель. Представить его одетым просто в костюм было невозможно. Однажды мне посчастливилось – я встретился с Хозацким, когда на нем был не обычный синий, а белоснежный китель (по-видимому, день был особо торжественный). Лекции он читал изысканно академично, ровным спокойным баритоном, строя фразы таким книжным образом, что создавалось полное впечатление, будто он читает научный текст. Однако совершенно таким же образом он и просто беседовал с нами. Самым удивительным был слух о его хобби, а именно о какой-то картотеке, где содержались все известные и неизвестные выражения неформальной лексики русского языка, а попросту – мата, с точной датировкой и привязкой к местности, где такое было услышано. Разумеется, для меня это так и осталось слухами, хотя иногда мне приходилось беседовать с Хозацким на отвлеченные от науки темы.

Что же касается нашего заведующего кафедрой Павла Терентьева, типичного представителя «яйцеголовых», как любят выражаться американцы об ученых, то с ним просто побеседовать о жизни было почти невозможно - его манера держаться всегда напоминала о дистанции, нас разделяющей. Его коньком была и математика, и латынь. Однажды на каком-то экзамене я не очень

обрадовал Терентьева, судя по выражению его лица, своими ответами по общей зоологии, и отличную оценку я выцарапал только тем, что стал специально называть все систематические группы и виды животных на латыни. А в 1968 году, во время защиты кандидатской диссертации, проходившей в Университете, отвечая на один каверзный вопрос по статистическим методам анализа, я вдруг увидел, что Терентьев, до этого занятый своими бумагами, утвердительно кивает головой, и понял, что только математическая тема, наконец, заставила его взглянуть на меня и на то, что происходило в аудитории.

Не могу не упомянуть и председательствовавшего тогда на заседании Ученого совета заведующего кафедрой энтомологии профессора Александра Данилевского, своей внешностью и манерами являвшего как бы образчик вдумчивого русского интеллигента. К сожалению, мне не пришлось с ним близко общаться, но именно у него (и, пожалуй, еще у профессора Андрея Ниценко) я всегда ощущал удивительно уважительное отношение к студентам. Данилевский был личностью незаурядной как по своему происхождению (он по материнской линии был одновременно и праправнуком Пушкина, и сыном внучатой племянницы Гоголя), так и по своему научному творчеству. Занимался он проблемами фотопериодизма и сезонного развития насекомых, и Виктор Дольник всегда считал его своим первым учителем в области экспериментальной биологии. Данилевский работал не только в Университете, но одновременно много лет заведовал отделением чешуекрылых в Зоологическом институте, и, помимо этого, был одним из инициаторов специального школьного биологического образования и организовал первый биологический класс в одной из школ. Он почти фанатически любил цветы, сам их выращивал, и на своей кафедре собрал целую коллекцию гладиолусов.

Наша студенческая группа, специализировавшаяся на кафедре зоологии позвоночных, оказалась на редкость большой – нас было двенадцать, поскольку к группе, состоявшей из заводилы, не мыслящего себя без дружеского общения, герпетолога Владимира Ищенко, и столь же общительных Эдуарда Фомина, Марка Шумакова, Бориса Панфилова, а также Елены Гавриловой, Натальи Виноградовой, Василия Червонного, Бориса Соколова, по разным причинам примкнули и студенты со старшего курса – Алексей Константинов, Валерия Попова (ставшая вскоре Ермолаевой), Александр Захаров и автор этой книжки. В отличие от многих других кафедральных групп, наша держалась с завидной сплоченностью, несмотря на полную разномастность как в отношении характеров и персональных увлечений, так и в отношении степени приверженности к выбранной нами науке. Помимо традиционных для всех частых вечеринок и выпивок по самым разным поводам, почти все мы вместе выезжали и на охоту, чаще всего на уток. Охота все еще оставалась естественным занятием зоолога, как бы неразрывно связанным с профессией. Однако настоящими охотниками были только всегда оптимистичный и уверенный в себе Константинов, порывисто-эмоциональный Шумаков, рассудительно вещающий своим гнусовато-грудным голосом Боб Соколов и по-деревенски увалистый и прижимистый Вася Червонный. На одну из весенних охот мы отправились сразу же после первого полета Гагарина, в апреле 1961 года, и на нашей охотничьей избушке был водружен плакат, с которым мы перед этим шли по Невскому проспекту во время

единственной не разогнанной (по тем временам) стихийной студенческой демонстрации: «Всем до начала полета потомство оставить охота!»).

Из всех двенадцати лишь один – Фомин - сейчас стал гражданином США, и лишь один уже погиб в 1998 году: наш всеобщий любимец, гитарист и певец Саша Захаров, герпетолог-фанатик, и ловивший змей в пустынях, и державший их как домашних любимцев в обычной питерской квартире, и много раз испытывавший действие змеиного яда, неожиданно получил смертельный укус от заурядной гадюки в одном из коммерческих террариумов. Все остальные члены нашего кафедрального содружества со всеми правами полностью бесправных российских ученых тихо дорабатывают в своей профессии последние годы, а может быть, и дни.



Зоологи почти всегда связаны с охотой...

Автор (с зайцем) и Алексей Константинов (с утками). Ленинградская обл.,
Выборгский р-он, Антикайнино, 1960.

НЕ ТОЛЬКО ПТИЦЫ...

Вонзайся, мелодия, в сердце,
Открой все затворы души,
Аккордом естественных терций
Наносную боль заглуши!
Бегите, мурашки по спинам,
Ловите истины миг:
Обвал музыкальной лавины,
Кларнета прощальный крик!..
Замру я. Снова и снова
Пусть бьется в душе восторг,
Сильнее мысли и слова,
Сильнее картин и строк...

Вольная студенческая жизнь, как и всюду, проходила у нас бесконечной сменой, как в калейдоскопе, полусонных записей утренних лекций, смоления сигарет на лестницах попеременно с анекдотами, шумных переходов из одной аудитории в другую, крикливых сборищ в нашем знаменитом Университетском коридоре, практических занятий то с дергающимися лягушачьими лапками, то с распластанным дождевым червем, заглатывания «двойного черного без сахара» в буфете, и, наконец, вечерних посиделок в узких компаниях по интересам. Интересы же, как оказалось, были весьма разнообразными. Помимо моей природной преданности всем делам с пернатыми созданиями, меня влекло, и порою весьма неудержимо, и к другим областям человеческой деятельности, и более всего к трем ее формам: поэзии, театру и музыке. Подчинившись этим и другим внутренним голосам, я, в силу оптимизма молодости, пришел сразу и в литобъединение Университета, заседания которого проходили на филфаке, и в театральный кружок при Биофаке, и даже в секцию самбо вместо других обязательных «физкультурных» занятий.

В литобъединении, однако, я долго не задержался, и причиной этого стали опять же птицы, но не в силу их конкуренции с поэзией, а в силу моей юношеской несдержанности. Во время очередного заседания, при разборе каких-то принципов поэтического творчества, меня вынесло на кафедру, и я в запале ниспровергательства стал приводить примеры грубейших несуразиц в стихах весьма почтенных современных поэтов. Когда же я покусился и на Сергея Есенина («плачет где-то иволга, схоронясь в дупло» – только сумасшедшая иволга может залезть в дупло – потому и плачет в

шизофреническом бреде), меня попросили замолчать и сесть на место. Моя активность в литобъединении на этом и кончилась.

Театральный кружок на Биофаке оказался более терпимым к моей особе, и, может быть, по причине нашего куратора. А в этой роли выступала, хотя почему-то очень недолго, Алиса Фрейндлих – в то время (это были 1955-1956 годы) тоже еще студентка Театрального института. Никакого особого впечатления на меня она тогда не произвела – ни как актриса, ни как женщина, хотя я сразу заметил, что ее отношение ко мне было более внимательным, чем просто к «курируемому». Ничего, кроме «непростого», то есть твердого и властного характера, я не сумел тогда увидеть в этой девушке. Впоследствии, посещая постановки с ее участием, я с удивлением и с некоторым оттенком ревности следил за феноменальным взлетом этой всенародно и заслуженно признанной актрисы – теперь «живой легенды», как беспардонно обозвали ее недавно устроители какой-то новой театральной номинации (слава богу, что недавно ей присвоили более подходящую по названию премию «за честь и достоинство»). Ставили мы тогда отрывки из пьес современных драматургов, и почитывали со сцены классику, чаще всего выезжая с концертами по деревням Ленинградской области (почему-то это называлось «агитпоходами»). Режиссером пьесы Корнейчука «Калиновая роща», в которой мне отвели роль разухабистого боцмана, был однако наш студент с четвертого курса физиолог Александр Батуев, впоследствии парторг факультета, а не Алиса Фрейндлих. Последнее мое общение с Алисой было во время конкурса чтецов, проходившего в Актовом зале Университета, в котором я решился участвовать. Читал я рассказ Чехова, и сразу же после исполнения понял, что разочаровал членов жюри. Алиса тут же высказала мне свое неприятие моей «самонадеянностью», и я навсегда оставил мысли проявлять себя каким-либо образом в подобной деятельности, а сосредоточиться на том, ради чего я и поступал в Университет – на всем, что связано с птицами и вообще биологией.

Однако сразу отмахнуться от всех сторон притягивающей «богемной» жизни мне не удалось. Необходимость зарабатывать на жизнь во время студенческих каникул и в другое время завела меня сначала на киностудию «Ленфильм», где я за три рубля в день мыкался в окружении таких же праздношатающихся в роли статиста, а потом и в Мариинский театр, где я был в составе мужского «миманса», то есть мимического ансамбля. Именно там я впервые тесно соприкоснулся с жизнью всяких рядовых и неизвестных артистов и околотеатральных деятелей, и меня крайне поразил тогда их культурный уровень, никак не соответствующий моим априорным представлениям. Повседневная пошлость в общении, скабрзные анекдоты казарменного толка, густой мат с художественными вариациями – вот что было перманентным фоном этого храма искусства. Все это особенно четко контрастировало со словами и духом тех оперных спектаклей, в которых мы были задействованы. Несколькими годами позже, попав однажды в квартиру дирижера Климова (отца известного скрипача Валерия Климова, победителя конкурса имени Чайковского вместе с вознесенным тогда до небес Ван Клиберна), в шумную компанию каких-то артистов и композитора Ивана Дзержинского, я подтвердил свои впечатления. Разумеется, явного мата там не было, но что касается безалаберности в поведении и общего интеллигентного уровня некоторых гостей, то в любой компании инженеров

этот уровень явно был выше. В своих оценках я не был одинок – мой отчим, энтомолог Сергей Прозоров (друг этого дирижера по школьным годам в Красноярске), как оказалось, был полностью со мной согласен. Справедливости ради тут же отмечу, что впечатления о компаниях операторов и кинорежиссеров с Ленфильма, в которые я иногда попадал на квартире оператора Льва Сокольского, отчима моей первой супруги, были совсем другими – они вполне соответствовали моим представлениям о достаточно высоком духовном уровне творческой интеллигенции.

Вечерние студенческие посиделки, либо у меня дома, в Бугском переулке, либо в студенческом общежитии на Мытнинской набережной, проходили под обязательные звуки джаза, исходящие из магнитофонов «Спалис» и «Гинтарас». Это были самые дешевые бытовые магнитофоны и производились они в Литве. Купить их в Ленинграде было невозможно даже по благу, и поэтому мы с моим сокурсником Александром Олицким однажды, в пылу страстного желания обладать новейшей техникой ради беспрепятственного прослушивания джаза в любое время (а до этого мы слушали джаз только по приемнику, старательно настраиваясь на “Voice of America”), сели в поезд и покатали в Вильнюс. Мы привезли тогда четыре магнитофона, чтобы с выгодой продать лишние, оправдать свои непомерные студенческие затраты на билеты.

Наша несгораемая любовь к джазу зиждилась и на искреннем чувстве восхищения его заводящей вдохновенной ритмикой, его «битом», характерным для всего мейнстрима, включая и свинг, и диксиленд, и на будоражащих чувствах полной свободы, абсолютного раскрепощения от унылых догм советского социалистического образа жизни. Традиционный джаз, как и многое, что волновало меня в юности, остался со мной на всю жизнь, и хотя я сейчас с трудом выбираюсь на джазовые вечера, я с тем же интересом слушаю такую музыку на новом питерском радиоканале «Эрмитаж», который удивительнейшим образом как бы специально создан для таких, как я. Вторым моим сокурсником, с кем я сблизился на почве джаза и всего запретного, а также и на почве кухонной критики всего окружающего нас догматического строя, был Сергей Шуколюков – стройный импозантный юноша с характером максималиста и с глазами, постоянно устремленными на женские ножки. В отличие от меня, он сам неплохо играл на гитаре и саксофоне, и главное – тоже имел природную тягу к природе и птицам. Преуспел он однако не в зоологии, а в биохимии, посвятив свою докторскую диссертацию фоторецепции, но с той же энергией, целеустремленностью и профессиональным подходом к делу продолжал увлекаться и комнатными птицами и рыбками, превратившись со временем в заядлого аквариумиста.

Моя ущербность в музыке (я не играл ни на одном музыкальном инструменте), огорчала меня, как в свое время весьма расстраивала моих домашних, тщетно пытавшихся приучить меня к роялю. Они рассказывали мне, что мой отец, уезжая на фронт, завещал маме: «Если я не вернусь, учи сына музыке. Все Паевские – музыкальны». Действительно, сам он был хорошим пианистом и перед войной даже подумывал сменить свою связанную с книгоиздательством деятельность на работу аккомпаниатора. А мой дед Владислав Паевский, сын обнищавшего шляхтича, ведущего свою записанную родословную с 15 века, еще мальчиком в 1875 году приехал в Россию из своего польского имения в Плоцком воеводстве, и, став юристом, больше увлекался музыкой, чем работой в

департаменте юстиции. Обладая сильным лирическим тенором, он весьма тесно общался, несмотря на большую разницу в возрасте, с композитором Милием Балакиревым, создателем знаменитой «Могучей кучки». Письма Балакирева моему деду, хранящиеся в нашем семейном архиве, - тихие свидетели звучных музыкальных вечеров конца девятнадцатого века. Еще один удивительный документ, хранящийся с этими письмами, - свидетельство о крещении моего отца в октябре 1900 года, где крестным отцом записан «Милій Алексѣевичъ Балакиревъ», и удивительность состоит в том, что знаменитый композитор значится там как статский советник.

Увы, я не унаследовал особых музыкальных способностей моих предков, и лишь шальная юношеская приверженность к джазу заставляет вздрагивать и буквально преображать настроение при первых же звуках настоящего бита. Временами и другая музыка, в том числе и классика, отзывается сокровенными мурашками по спине, и тайные предательские слезы сопровождают проникновение таинства музыки в те закоулки души, которые почему-то никак не реагируют на прочие обстоятельства, вызывающие у других людей всплески сопереживания и сострадания. И всё же какими-то неведомыми путями музыкальный слух моих предков вновь преобразовался в специфический первобытный слух по улавливанию красоты всех звуков птичьего языка и природной мелодики всего окружающего мира: и неторопливо журчащей на рассвете песни зарянки, и плачущего весеннего леса, и грохочущего морского побережья, и шелестящего муара прибрежных лугов...

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ НА КУРШСКУЮ КОСУ

Я у моря живу. У самого.
Психи-ветры там спорят с соснами,
И потливый туман своим саваном
Все подряд погребает сослепу.
На косе я живу. На Неринге.
Справа волны и слева волны.
И стаями птицы вдоль берега
Летают, судьбой довольны.
Курши жили здесь. Давно вымерли.
Посейдон своей блажью истовой
На янтарь их у Лаймы выменял.
Я у моря живу. У Балтийского.

Жизнь человека в ее главных контурах часто называют судьбой, особенно если судьба эта носит явные признаки драматизма или трагичности. Во многих случаях определяющие линии судьбы, как известных людей, так и самых рядовых, зависят от таких случайностей, которые, при последующем их осмыслении, представляются странными, нелепыми и даже смешными. Кажется невероятным поэтому, что очень многое в нашей жизни определяется бессмысленным набором следующих друг за другом и ничтожных по сути своей явлений и обстоятельств. Впрочем, сам генотип, получаемый нами на стадии зиготы, уже настолько случаен (кто же может утверждать, что встреча его родителей была запрограммирована в ходе эволюции жизни на Земле), что наши индивидуальные черты, включая характер и способности, представляют собой проявление ускользающе малой вероятности существования.

Многие повторяющиеся явления в нашей обычной жизни приобретают в воспаленном воображении мистическую сущность, заставляя думать об их тайном смысле и высшем предназначении. Нечто подобное испытал и я, когда настойчивое повторение числа 29 в моей жизни стало слишком навязчивым. Мой день рождения, номер квартиры, в которой мы тогда жили, номер последующей квартиры, куда мы переехали, мой возраст при первой женитьбе, номер третьей квартиры, который мне достался при лотерейном розыгрыше в кооперативном доме, - все это было под номером 29, и мне уже не казалось случайным. Когда же после развода с супругой я, находясь в полном безразличии к дальнейшей судьбе, вдруг въехал в дом и квартиру, не имеющих ничего даже близкого к этому числу, я испытал нечто вроде разочарования. И только выйдя на балкон, я оцепенел от возвращающейся вере в мистику: мой новый дом, оказывается, окружали три корпуса, числящиеся

по соседней улице, с огромными черными цифрами 29 на белом фоне каждого здания! Знакомство с будущей новой супругой Лидией Карелиной в одном из дворцов Ленинграда тоже ознаменовалось этим же числом – таков был номер моего входного билета. Даже в списке «Экологи Советского Союза», изданного в Свердловске в 1990 году, я оказался под номером 729. Разумеется, и в настоящее время я тоже осенен этим числом – остановка автобуса вблизи моего дома называется «улица Композиторов 29». И все же я смею утверждать, что все это – не более, чем забавные совпадения, относящиеся к той вероятностной природе всего сущего, что нас повседневно окружает.

Эти тривиальные соображения поневоле приходят мне на ум, когда я вспоминаю, каким же образом я очутился на Куршской косе осенью 1958 года, чтобы остаться там почти на всю жизнь. А дело было всего лишь в том, что однажды весной того года я позавтракал копченой треской... В те времена это был весьма дешевый продукт и поэтому вполне обычен в меню студента. Сразу же после этого завтрака я поехал в лес, в одно из моих любимых тогда мест (по причине полной безлюдности и в то же время близости к городу) на реке Сестре вблизи хутора с экзотическим названием Манила, там, где до 1940 года проходила советско-финская граница. После трехчасового блуждания по лесу и радостного наблюдения за весенним птичьим ажиотажем меня так одолела послетресковая жажда, что я не выдержал и утолил ее прямо из болотистого ручья, впадавшего в Сестру. Последствия этого легкомыслия сказались уже к вечеру, а утром меня отправили в больницу, где я в тоске и мрачной безнадежности провалялся полтора месяца, пропустив и экзамены, и намеченный ранее с Мальчевским отъезд на практику в Савальское лесничество к его другу, орнитологу Николаю Кадочникову. Планы по моему участию в изучении питания птенцов методом шейных лигатур, чем и занимался в то время Кадочников, были полностью сорваны. Как оказалось впоследствии, были сорваны и сроки очень многих моих дальнейших жизненных планов.

Орнитолог Николай Кадочников был родным братом известного артиста Павла Кадочникова, исполнившего главную роль в фильме «Балтийская слава», на съемках которого летом 1957 года во время каникул я подрабатывал помощником осветителя. Судьбе было угодно, чтобы из двух братьев я соприкоснулся, хотя и весьма мимолетно, не с орнитологом, как было вполне ожидаемо, а с артистом. Это странное веление судьбы, продолжившееся приобретением фатальной трески на завтрак, и привело меня в 1958 году на Куршскую косу, ибо оставшись без Кадочникова и летней практики, я, по совету Мальчевского поехал поработать на Биостанцию Зоологического института, основанную за два года до этого на месте знаменитой немецкой орнитологической станции Vogelwarte Rossitten. Проработав же на косе полтора месяца, я так проникся ее притягательной атмосферой, что в следующие два сезона опять был там, а в 1961 году, когда меня «распределили» в Псковский пединститут на престижную по тем временам должность ассистента кафедры зоологии, я, не приступив к работе, предательски бежал на Куршскую косу, где за неимением вакантного места, меня приняли на должность столяра. Именно с тех пор и появилась негласное правило для всех желающих работать на Биостанции – сначала необходимо пройти в обязательном порядке через «столярантуру».

В первый раз на Куршскую косу я поехал в октябре 1958 года вместе с Андреем Меженным, только что взятым директором Биостанции Львом Белопольским вместо внезапно и скандально уволившегося Яна Якшиса - одного из самых первых сотрудников. Меженный тоже ехал туда впервые – оформление его научным сотрудником проходило в Зоологическом институте, и его поездку на Биостанцию можно было расценить как развязывание мешка, в котором сидел уже купленный, но ни разу не виденный кот.

По приезде в Калининград мы были заботливо усажены в продуваемый всеми ветрами открытый кузов специального транспорта Биостанции – выдавшей виды скрипучей полуторки. Трагические виды Калининграда, через который нас тогда провезли, поразили меня. С момента прекращения войны прошло уже 13 лет, а бывший Кенигсберг продолжал лежать в руинах. Чудом оставшиеся части стен каких-то явно очень старинных зданий, мостовые из чудесных, по полностью разбитых плиток, заросших травой, жуткое зрелище мрачных скелетов Королевского замка, Кенигсбергского университета и Кафедрального собора. И всюду валялись разбитые, перемешанные с грязью и песком красные кирпичи...

Наше первое знакомство с Куршской косой проходило из открытого кузова машины, ковылявшей с ухаба на ухаб по единственной дороге на косе, ведущей от Зеленоградска (в недавнем прошлом Кранца) до Клайпеды (Мемеля). Часть этой дороги, принадлежавшая Российской Федерации, была покрыта асфальтом только летом 1961 и 1962 года, тогда же были пущены и первые рейсовые автобусы. А ранее добраться до ближайшего городка можно было только на весьма нерегулярно и редко ходивших попутках. Когда-то эта дорога в некоторых местах была покрыта деревянными плахами, уложенными с немецкой аккуратностью на песчаную основу, но время и военные действия не пощадили ни этого экзотического дорожного покрытия, ни его создателей.

В наши дни, когда по шоссе движется бесконечная лента легковушек и огромных туристических автобусов, трудно представить себе дорогу на Куршской косе в те годы - она была настолько пустынна, что мы с интересом смотрели на каждую проходящую машину. Лишь летом 1963 года на косе началось какое-то бесконечное передвижение военной техники – в течение нескольких недель, иногда и по ночам, на шоссе ревели моторы. Поскольку именно той весной был разоблачен и осужден шпион Пеньковский, то с тех пор каждое движение военной техники по косе мы называли «последствия Пеньковского».

К моменту нашего появления на Куршской косе на Биостанции уже не работали двое из самого первого штатного состава – орнитологи Олав Ренно и Ян Якшис. Надо сказать, что этот первый состав сотрудников был подобран с учетом нескольких биологических специальностей, необходимых для проведения полевых работ – ведь станция, названная при своем основании Орнитологической, вскоре сменила вывеску – стала именоваться Биологической, и здесь поначалу действительно работали не только орнитологи, но и штатные паразитологи. Ежегодно в течение нескольких лет на станции работали две экспедиции Зоологического института: паразитологическая и гидробиологическая. Паразитологическую возглавляла дочь действовавшего тогда и жена будущего директора института Ирина Быховская-Павловская. Это был тот довольно долгий период истории

Зоологического института, когда во главе его находились паразитологи – академики Евгений Павловский (с 1942 по 1962 год) и Борис Быховский (с 1962 по 1974 год). Вместе с Быховской-Павловской на Куршской косе работали Мария Дубинина, Игорь Хотеновский и Вильма Йыгис. Последняя какое-то время числилась в штате Биостанции, наряду с паразитологом Валентиной Глухой, и мне Вильма запомнилась своим удивительно отзывчивым, светлым характером и восторженно-внимающим поведением при любом, даже очень мимолетном общении практически с каждым человеком. В дальнейшем, в семидесятые-восьмидесятые годы, на Биостанцию приезжали и другие паразитологи института – Елена Дубинина, Александр Галкин, Елена Корнакова, Сергей Мионов. Паразитологические исследования проводила на косе в самые ранние годы и Мария Белопольская, энергичная и рассудительная жена нашего директора станции и мой преподаватель по Университету, державшая своего насквозь проспиртованного полярного волка в большой строгости и ревностно следившая за количеством выпитых им рюмок и выкуренных сигарет.

Что же касается Игоря Хотеновского, впоследствии партийного секретаря Зоологического института, то его приезды на Биостанцию были весьма регулярными и в последующие годы. Вел он себя как типичный коммунист, которому до всего есть дело. Когда однажды на Биостанции наши рабочие, ведомые местным жителем, «народным трибуном и ниспровергателем авторитетов», организовали забастовку – отказались грузить уголь при его транспортировке из Зеленоградска, Хотеновский тут же собрал общее собрание, на котором «с партийных позиций» четко разъяснил задачу каждого члена коллектива, устроив публичную выволочку народному вожаку. С Хотеновским связана и одна весьма типичная картина отношений нашего научного коллектива (в народе нас называли «птичники») и жителей поселка Рыбачий. Проходя как-то возле рыбачинского пирса, я встретил одного знакомого рыбака, который, находясь в состоянии умеренного подпития, вдруг начал меня расспрашивать о Хотеновском, который обычно брал на пирсе рыбу для паразитологических исследований. Оказалось, что на вопрос рыбака, что он делает с этой рыбой, Хотеновский ответил ему, что он ее изучает. «Сколько же можно учиться!» – недоумевал рыбак. Из сбивчивого рассказа рыбака я понял, что слово «изучение» народ воспринимает исключительно в смысле обучения, от глагола «учиться». С тех пор при разговоре с местным населением я всячески избегал слова «изучать», заменяя его словом «исследовать».

Гидробиологическая экспедиция работала под руководством Владимира Жадина. В те годы в Куршском заливе и на Биостанции работали и нынешний директор института академик Александр Алимов, и Александр Голиков, а также Нина Акатова, Вера Панкратова, Наталья Рождественская, а впоследствии регулярно – всегда радостно-оживленная и доброжелательная Людмила Кутикова со своим неизменным лаборантом, обаятельной и добрейшей Ириной Николаевой. Впоследствии приезжали и другие гидробиологи: Владислав Хлебович, Евгений Грузов, Марина Долголенко, Александр Комендантов, Татьяна Кониная, Зоя Кунцевич, Галина Бужинская. Для исследований в Куршском заливе у Биостанции имелись и свои суда – вначале небольшой катер, на местном рыбацком жаргоне – дора, названный Белопольским «Кайра» в память о его жизни на Мурмане, а с 1965 года и большое судно «Ладога» водоизмещением 65 тонн. Разумеется, у корабля имелась и своя

команда во главе с капитаном, и когда судно выходило в залив, я видел радостные лица команды – так редко это случалось, что на свою работу они выходили, как на большой праздник. Впоследствии, когда потребность в масштабных работах на заливе практически исчезла, исчезло с Биостанции и судно.



Здание Vogelwarte Rossitten, разграбленное и вскоре уничтоженное.
Калининградская обл., Куршская коса, Рыбачий, 1958. Фото автора.



Здание
Биологической
станции
ЗИН АН
СССР, в
прошлом
–
немецкий

Erholungsheim.

Рыбачий, 1980. Фото М. Шумакова.

НА ДВЕНАДЦАТОМ

Когда город бетонным варевом
Втиснет в сердце глухую тоску,
Улечу я на дюнные зарева,
На весеннюю птичью косу.
Меня встретят жуланы поклонами,
Будет пастью пугать козодой,
Крылья вяхиря, броско беленные,
Просвистят над моей головой.
И удог, арлекином наряженный,
Будет дергаться, как махаон,
И крапивник с мохнатой коряжины
Залихватский поднимет трезвон.
Мне зарянка нежнейшими взглядами
Путь укажет в шуршащую сень,
Черный дрозд предзакатной руладою
Зачеркнет угасающий день.
На Косе моей, на Двенадцатом -
Гром прибоя в лесной глуши,
Знаменитая Биостанция,
Белый камень моей души...

Коса очаровала меня с первых же минут, как только я увидел дюны – огромные песчаные горы, окаймленные березовыми рощами и сосновыми зарослями из самых разных пород, привезенных со всех частей света. И спустя много лет, когда все, что окружало нас на косе, было знакомым до мелочей, находились такие места, оказавшись в которых, долго не хотелось их покидать – так завораживающе притягательно и магически прекрасно было ощущать себя частицей этого спокойного и величавого мира. Размеренный грохот морского прибоя, поющий под ногами чистейший песок, янтарные россыпи на берегу после стихнувшего шторма, дрожащая в дымке темносиняя морская даль с белыми гривами бесконечных волн и мелькающими над ними силуэтами птиц – это картина мира с западной, Балтийской, шведской стороны. А с другой, восточной стороны – вздымающиеся туши желто-серых пустынных дюн с цепочками следов зайцев, косуль и лосей, и после долгого подъема по волнистому, как в пустыне, песку, с ожиданием полной свободы под небесным сводом, когда есть только дюны, ты сам и небо, - необъятная ширь внутреннего, Куршского моря, серого или зеленоватого с фиолетовым отливом, с постоянными криками чаек и их пролетающими стаями, с черными точками стремительно проносящихся над водой уток и куликов...



Первооткрыватели. Олав Рено, Дина Бекжанова (впоследствии Люлева), Вейно Эрик.
Куршская коса, 1956.



Спасенная вывеска Vogelwarte Rossitten обрела мемориальный покой рядом с действующей. Рыбачий, здание Биостанции.

И история Куршской косы, по-литовски Неринги, как природная, так и человеческая, и ее драматическая судьба с занесенными когда-то странствующим песком деревьями из-за неразумной вырубki леса, и ее куршское прошлое, осененное древним словом “Glaesum”, означавшим янтарь, из-за которого сначала римляне, а потом и германцы держали в смертельном страхе жителей побережья, и ее прусское прошлое, жестоко попранное Тевтонским орденом, и толпы крестоносцев, устремлявшихся через нее в свои лицемерные походы за истинную веру, и события последней войны, мрачными памятниками которой служат валяющиеся в лесу ржавые каски и снаряды - все это придавало какую-то особенную значимость и этому удивительному месту, и нашему здесь присутствию. Когда же орнитолог убеждался в том, что восторженные рассказы о невероятной концентрации пролетных птиц над косой полностью соответствуют действительности, его отношение к этой песчаной полоске суши посреди необозримых водных пространств переходило в стойкую, ревниво сохраняемую привязанность.

Только здесь, на косе, становилась осязаемо-очевидной вся незащитность и хрупкость окружающей нас природы. Природа долго мучилась, рождая человека, так как роды были ненормальные, и последней на свет появилась голова, беспутная и агрессивная. Борьба сына с матерью продолжается уже много веков, и хотя мать всё время дает понять, что сын не сможет без нее прожить, сын без конца пытается это проверить.

Куршская коса сейчас обрела, наконец, все положенные ей по достоинству звания и регалии: помимо того, что коса с 1987 года является «Государственным природным национальным парком Российской Федерации», она входит, как объект живой природы, в фонд «Всемирное наследие» под эгидой ЮНЕСКО.

В 1957 году в 11 км южнее поселка Рыбачий хлопотливо-оптимистичный Лев Белопольский с коллегами основал полевой стационар, называвшийся вначале «Наблюдательный пункт N 1». В просторечии его называли «Двенадцатый», т.е. находящийся в 12 километрах от Рыбачьего. Впоследствии, правда, выяснилось, что он находится не в двенадцати, а в одиннадцати километрах от Рыбачьего, но название настолько прижилось, что осталось навсегда. Официальное и весьма звучное имя «Фрингилла» с легких рук Виктора Дольника и автора этих строк стационар получил в 1962 году, поскольку именно зяблик (*Fringilla coelebs*) стал и нашей учебной лягушкой, и нашим подопытным кроликом, и нашей белой мышкой.

Зяблик на Куршской косе был повсюду. Весной и осенью неисчислимые стаи зябликов своим мерным волнообразным полетом заполняли всю видимую часть неба, и столь же размеренно влетали в наши ловушки, часто до предела заполняя их и заставляя нас, вдыхая облака пуха и пыли, кольцевать и кольцевать бесконечные тысячи этих, хотя и изрядно поднадоевших нам, но всё еще любимых птиц. А летом такие же тысячи пар зябликов в окружающих нас березовых рощицах и сосновых посадках неистово пели, взбудораженно выясняли отношения, тщательно ткали свои плотные красивые гнезда, сокровенно пряча в них и свои пять голубых с чернобурыми завитками яиц, и появляющиеся из яиц горячие и влажные пушистые создания... Летние поиски гнезд, когда каждое второе найденное гнездо было зябличьим, ежедневный контроль содержимого этих гнезд,

когда мы для ускорения процесса пользовались маленьким зеркальцем на палке, долгое, с томительным ожиданием сидение в «засидках» для подглядывания за тайными и интимными сторонами жизни птичек – всё это составляло естественную часть нашего привычного существования на Двенадцатом.

Обычно сидение в засидках надолго запоминается орнитологу, и по чисто физической причине неудобства и скованности в движениях, и, главное, по совершенно новым впечатлениям о поведении трепетных объектов нашего горячего внимания. Мне это времяпрепровождение всегда было ценно и еще по одной причине – именно там, в полусвете тесного убежища, при покорном ожидании очередной смены насидывающей птицы или визита родителей с пучками пищи для птенцов, в свободном от иных впечатлений мозгу рождались и новые идеи обработок наших научных данных, и новые стихотворные строки, и временами, новый, отстраненный от мелких реалий повседневности, взгляд на наше странное и не во всем мне самому понятное существование.

Как только нас с Меженным в далекий октябрьский день 1958 года привезли, наконец, впервые на «Двенадцатый», нас сразу же повели на ловушки – для знакомства с главной достопримечательностью Биостанции, скопированной потом и в Литве, и в Латвии, и в Казахстане, и в Пскове, и на Ладоге. Шел тогда лишь второй год работы этих ловушек, совершенно новых не только в СССР, но и в мире. Изобрел их, как всегда считалось, Ян Якшис. Однако, обсуждая недавно эту тему с Диной Люлеевой, я понял из ее рассказов, что это изобретение не было каким-то внезапным озарением. В течение долгого времени Якшис вместе с другими сотрудниками и Белопольским искали способ эффективного отлова мигрирующих птиц, просматривая литературу и пытаясь моделировать, и постепенно, на основе описаний Гельголандского «трапа» у них и родилась здравая мысль о ловушке вентирного типа с механизмом ее быстрого подъема и спуска.

Впоследствии нам не раз приходилось объяснять зарубежным орнитологам, в чем же отличие Рыбачинских ловушек от Гельголандских, якобы очень похожих внешне. И лишь в 1999 году мы, наконец, сами приехали на остров Гельголанд – орнитологическую Мекку для тех, кто изучает миграции птиц. Этот небольшой скалистый остров в Северном море, с колониями олуши, с огромными мохнатыми коровами, пасущимися на единственном высотном лугу под пронизывающим ветром, с могильными камнями на кладбище, под которыми почти нет усопших, ибо в течение веков рыбаки погибали в море, уже слишком освоено массовым туризмом. Наш хороший знакомый, часто бывающий в Рыбачьем Петер Канье, уроженец Гельголанда, с грустью и сожалением рассказывал о современной судьбе острова, на котором почти не осталось старых традиций.

И вот, наконец, мы смогли увидеть и потрогать Гельголандскую ловушку в составе большой группы участников конференции, посвященной 100-летию кольцевания птиц. Участники, а среди них были и известнейшие английские орнитологи Кристофер Перринс и Иэн Ньютон, заинтересованно внимали Оммо Хюппопу, главному птицелову на Гельголанде, очень активному и общительному человеку. Нас, рыбачинцев, зрелище Гельголандской ловушки неприятно поразило: она была весьма примитивным и даже, можно сказать, жалким прототипом Рыбачинских ловушек. Теперь нам стало ясно, что и объяснять-то ничего не надо – достаточно хотя бы один день поработать на обоих типах

ловушек, чтобы понять их принципиально разное устройство, а следовательно, и результат работы. Спросив у Оммо Хюппопа, сколько же птиц можно поймать за один день работы, и узнав о максимуме в 150 штук, мы с гордостью и бурно възгравшимися патриотизмом сообщили ему, что одной Рыбачинской ловушкой можно поймать за день несколько тысяч птиц. Оказалось, что Хюппоп об этом знает, но, мол, в разных условиях требуются разные типы устройств, и на Гельголанде Рыбачинским ловушкам делать нечего – их сметет ураганом. Я пытался возражать – ураганы и на Куршской косе не редкость, и наши ловушки тем и отличаются, что их можно опустить за считанные минуты, а после урагана вновь привести в рабочее состояние. Но Хюппоп скептически улыбался и повторял свое. И я понял, что известное дурацкое выражение «что русскому здорово, то немцу – смерть», по-видимому, имеет какой-то смысл.

В свой самый первый вечер после эпохального в моей судьбе приезда с Меженным на Двенадцатый я испытал сильнейший стресс, который хорошо помню до сих пор. После активной беготни по ловушкам и осмотра окрестностей с дюн, нас с Меженным поместили на ночлег в маленьком кирпичном домике, который в настоящее время представляет собой внутреннюю часть кухонно-столового комплекса, или в просторечии «слоновника» (название, возникшее однажды по причине необычайного скопления в этом помещении долгоносиков, или слоников). Тогда это было отдельно стоящее здание типа сторожки. Внутри, кроме печки и маленького столика, возвышались две железные кровати, одна над другой, как в солдатских казармах, если не сказать – как в камере. Меженный тут же с необыкновенной сноровкой затопил печь, и вскоре раскалил ее так, что дышать стало нечем – пришлось открывать дверь. И вот, лежа на верхних нарах, и с жадностью заглатывая свежий воздух, разгонявший липкую жару, под громкий шелест ивовых кустов, я вдруг с чувством полной обреченности подумал: вот оно, начало жизни в выбранной мной профессии, вот так я и проведу долгие годы в заброшенных и богом, и людьми местах, вот так и умру где-то в безвестной глуши, под треск поленьев и завыванье ночного ветра... И уже ни красоты Куршской косы, ни мысли о замечательных птицах, к которым я так стремился, долго не могли вывести меня из этой ночной депрессии. К счастью, наступившее утро вновь вернуло меня к нормальному восприятию действительности.

Как это иногда бывает в октябре на Куршской косе, наступивший день был безмятежно тихим и ласково теплым. Шел интенсивный пролет птиц, но на очень большой высоте, и лишь слабо доносившиеся позывки мигрирующих зябликов и юрков заставляли поднять бинокль, и тогда перед восхищенными глазами наблюдателя представала картина многоярусного и всеобъятного движения многих тысяч самых разных птиц. Вся последующая наша жизнь на косе показала, что высотный их пролет даже при штиле и попутном ветре обычно снижался к середине дня, и ловушки сразу начинали оправдывать вложенные в них силы и средства, наполняясь птицами до предела.

Совсем другая утренняя картина была при встречном ветре слабой или умеренной силы: с самого рассвета, практически еще в сумерках, настороженное ухо просыпающегося орнитолога улавливало все признаки надвигающегося птичьего обвала – почти ультразвуки корольков и треск

зарянок, цыканье проносящихся над самыми вершинками сосенок дроздов и оживленную переключку



Изобретатель Рыбачинской ловушки Янис Якшис с первой пойманной ушастой совой. Двенадцатый, 1957.
Фото Д. Люлеевой.



Парадокс начала профессиональной деятельности автора:
злейший разоритель гнезд излюбленных птичек – его
ласковый питомец. Двенадцатый, 1960.



Андрей Меженный. Двенадцатый, 1960. Фото автора.

просыпающихся дневных мигрантов – зябликов и синиц. В такие дни у нас были две главные утренние заботы – вынуть из камер ловушек сов, возможно залетевших ночью, и успеть позавтракать до наступления того периода работы, когда не только на завтрак, но и просто в кусты отойти уже совершенно нет времени.

Вся полная картина нашего рутинного действия при массовом отлове этих безумных мигрирующих птичек на протяжении уже более сорока лет выглядит следующим образом. В такие регулярно повторяющиеся, но, к счастью, не слишком частые дни, резко отличающиеся от дней нашей летней жизни, мы, нервно схватив пустые садки, легкой трусцой мчимся в ловушки. Забежав внутрь и издавая первобытное шиканье, молодецкие посвисты и гулкие удары в днища садков, мы подгоняем вконец обезумевших и мечущихся в разные стороны птиц и направляем их к фатальному для них отверстию конуса, вдающегося в накопительную камеру. Залезая затем в эту камеру всем своим громоздким телом и пытаясь проявить максимум осторожности при выборе места для постановки своих сапожищ, мы набиваем садки птицами, уже заранее стараясь их классифицировать для ускорения последующих процессов, и с отяжелевшими садками двигаемся обратно. Наш тип садков, придуманный Андреем Меженным и, вследствие своей оптимальности, оставшийся неизменным на протяжении сорока лет, представляет собой разделенный на две части низкий ящик с сетчатым верхом и матерчатыми входными рукавами.

Окруженные садками, из которых доносятся непрерывные крики, писк и возня, мы доведенными до полного автоматизма движениями достаем из садка очередную птицу, цепляем ей на цевку кольцо, измеряем крыло, бросая беглый взгляд на большие верхние кроющие второстепенных

маховых, и кидаем птицу головой вниз в прозрачный кулек, висящий на специальных весах, а затем эффектным движением выбрасываем птицу из этого кулька в небольшое отверстие в стене нашей

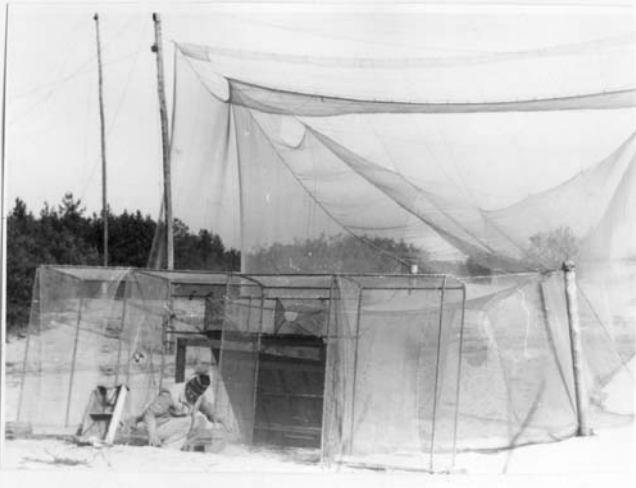


Первые этапы дружеского сближения прибалтийских орнитологов. Сверху вниз и слева направо: Виктор Дольник, Гирт Каспарсон, Петерис Блум, Юрий Пукинский, Владимир Зимин, Владимир Паевский, Валентин Люлеев, Янис Виксне, Вейно Эрик. Рыбачий, Биостанция, 1961.

Фото Д. Люлеевой.



Оживленная беседа после дружеского застолья. Эмилия Голованова и Владимир Паевский. Рыбачий, 1961. Фото Д. Люлевой.



Рыбачинские ловушки наиболее трудны для фотосъемки – они исчезают на фоне неба не только для для глаза человека и птицы. Двенадцатый, 1965-1978. Фото автора.



Героические будни птицеловов Куршской косы на «мачтах сетчатых фрегатов».



Сняться с пойманной крупной птицей любили все.

Татьяна Блюменталь и Виктор Дольник с канюком. Двенадцатый,
1962. Фото автора.



На смену небезопасным деревянным воротам пришли металлические лебедки для подъема Рыбачинских ловушек. Двенадцатый, 1966.

«лаборатории», ведущее на долгожданную птицей свободу. Все эти действия сопровождаются нарочито громко произносимыми результатами осмотра и измерения, предназначенными для напряженно-углубленного в процесс записывания сидящего рядом коллеги. Высшим пилотажем для записывающего считается безошибочная регистрация всего произносимого одновременно тремя кольцующими, которые при этом еще и стараются перещеголять друг друга в скорости всех действий. Разумеется, всё это возможно только при наличии уже заранее сброшюрованных напечатанных листов специального журнала, где запись производится в строчке уже имеющегося номера кольца, и при заранее надетых кольцах на специальные стержни, с которых мы их мгновенно стягиваем. При наличии свободных рук один из нас, конечно же, приставлен к весам, и услужливо протягивает кулёк каждому кольцевателю.

Самым ответственным моментом было мгновенное и правильное определение возраста у птиц безошибочно определяемым полом, или же пола и возраста у тех видов, где это представляло некоторые проблемы. Именно поэтому иногда было совсем недостаточно лишь беглого взгляда на кроющие перья. Впрочем, при таких массовых и обычных для нас птицах, как зяблики, юрки, чижи и синицы, задержек почти не было. Когда же мы понимаем, что количество птиц одного вида в принесенных садках уже за пределами даже для наших героических возможностей, мы переходим к так называемому кольцеванию «без обработки», а для этого просто ссыпаем каждую последовательную сотню колец в корытца с надписями «♂ ad, ♂ sad, ♀ ad, ♀ sad» и приступаем к одеванию колец вне избы, прямо на свежем воздухе, покуривая и травя анекдоты, и заботясь лишь о том, чтобы загребущие пальчики не потянулись к корытцу, не соответствующему возрасту и полу находящейся в руках птички.



Типичные картины нашей птицеловной жизни: камеры Рыбачинских ловушек с зябликами днем (вверху) и совами ночью (внизу). Иногда птицу ловили как муху на стекле (в середине)



Валерий Гаврилов и Виктор Дольник, 1967. Фото автора.



Позирование с утренней добычей – совы, ястреба, вальдшнеп. Владислав Ефремов, Владимир

Паевский, Наталья Виноградова. Двенадцатый, 1969. Фото Д. Люлеевой.



Лев Белопольский на Двенадцатом, 1971. Фото автора.

Иногда казалось крайне тоскливым повторять изо дня в день и из года в год одни и те же действия на одних и тех же птицах, получая одни и те же результаты. Счастливыми исключениями были те минуты, когда мы обнаруживали в ловушке что-то редкое или совершенно необычное для Куршской косы. Такими радостными были поимки и степного и горного коньков, и желтоголовой трясогузки, и синехвостки, и «не наших» пеночек – бурой, корольковой и зарнички. Тем более восторженными были случаи обнаружения рыжегрудой славки и американской индиговой овсянки. Следует, правда, заметить, что индиговую овсянку мы поймали не в ловушку. Первый раз я услышал пение этой птицы, совершенно мне незнакомое и поэтому чрезвычайно заинтриговавшее, в июне 1975 года в полутора километрах от Двенадцатого. Подкравшись к источнику этого пения и увидев небольшую птицу овсяночного типа с ярким синим оперением, я остолбенел в буквальном смысле этого слова, так как такую птицу я видел впервые в жизни. Проторчав под ней более часа, я сбегал за коллегами (это были Марк Шумаков и Сергей Ильин) и дал им тоже насладиться лицезрением этой диковинки. Попытки поймать ее оказались неудачными, а стрелять почему-то не хотелось, тем более, что мы, наконец, догадались, кто это такая. Вторая индиговая овсянка, тоже самец, была увидена, и вскоре поймана на окраине Рыбачьего в апреле 1982 года. Она прожила в клетке сначала у меня, а потом у Георгия Носкова до своей смерти в 1992 году. Хотя сведения и о первой, и о второй индиговой овсянке были мной опубликованы, в список птиц России как залетные они не попали и не попадут – для наших составителей авифаунистических списков достоверным фактом может быть только тушка птицы (ни фотография, ни свидетельство профессионалов таким фактом не являются). Более того, в книге самого авторитетного в этом отношении орнитолога Лео Степаняна говорится, что из последней сводки исключены только «формы, обнаружение которых в границах СССР явно связано с искусственным завозом». Тем не менее, совсем недалеко от Куршской косы – в Дании,

Швеции и Финляндии эта птица североамериканского континента уже занесена в списки как залетная.

Попытки разнообразить деятельность приводили и к участию в наших эпохальных среднеазиатских экспедициях, где, естественно, мы ловили птиц не Рыбачинскими ловушками, а паутинными сетями, называемыми в просторечии пúтанками, а главное, ловили иногда птиц совершенно новых для нас видов, что вновь заставляло наши усталые сердца биться если не с энтузиазмом первооткрывателей, то хотя бы с радостью. Самыми приятными экспедициями были те, где мы постоянно меняли места стоянок, а, следовательно, и обновляли видовой состав попадающихся в сети птиц. Вот так и остались навсегда в моей памяти и Алайская долина на Памире в 1982 году с замечательными булаными и длиннохвостыми сорокопутами, краснокрылым чечевичником и желчной овсянкой, не говоря уже о часто пролетавшем над нами бородаче и временами пробегающими одинокими полудикими верблюдами, и пойма Аму-Дарьи у бывших берегов Аральского моря и озеро Каратерен в приаральской части пустыни Кызыл-Кум в 1988 году с буланным вьюрком, тугайным соловьем, бормотушкой, белоусой славкой, скотоцеркой, змеядом и многочисленными золотистыми щурками, а также со скорпионами, черепахами, степной агамой и стрелой-змеей.

Ярчайшими остались и впечатления от гор Тянь-Шаня (Заилийский и Таласский Алатау), куда нас повёз в 1978 году после Алма-Атинской конференции по миграциям птиц Анатолий Ковшарь, тонкий специалист по певчим горным птицам, за которыми он наблюдал, сначала поймав их и индивидуально разукрасив. Именно в этих горах мы насладились образами и альпийской галки, и черногрудой красношейки, и красноспинной горихвостки, и гималайской завирушки, и арчовой чечевицы.

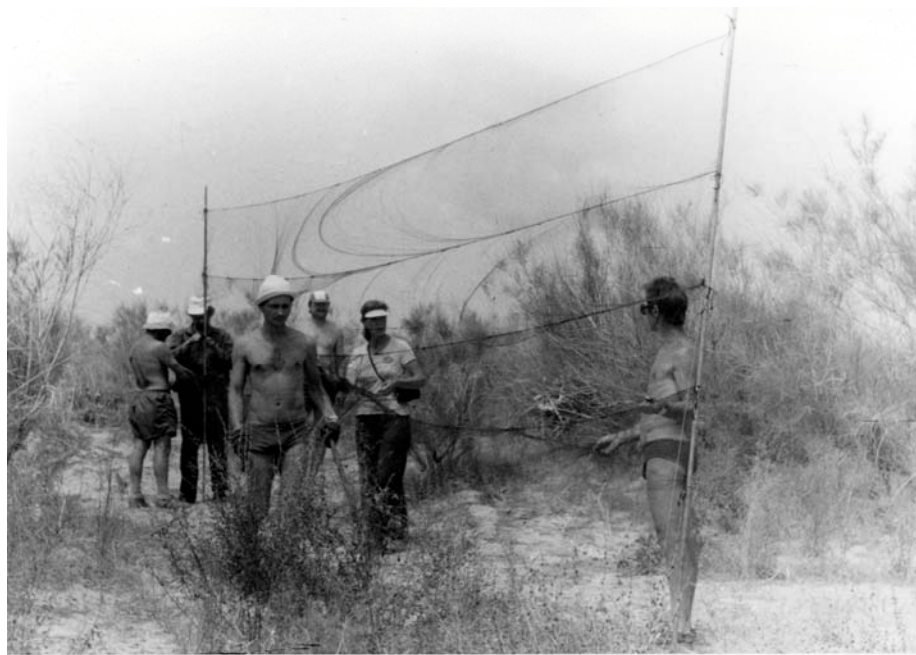
Кроме столь далеких азиатских экспедиций, в первые годы существования Биостанции Лев Белопольский старался расширить состав кольцуемых видов за счет аистов и цапель и снаряжал экспедиции по всей Калининградской области. Еще студентом в 1959 и 1960 годах мне довелось участвовать в этих поездках вместе с Белопольским, Меженным, Эриком и Дольником. Птенцов аистов приходилось иногда кольцевать не только в легко доступных гнездах на крышах сельских домов, но и в гнездах, расположенных на старых полуразрушенных трубах, столбах или на вершинах засохших стволов деревьев. Добираться до таких гнезд, хотя и с большим трудом, всё же удавалось, а вот спуск обратно на землю вырастал временами в огромную проблему. Однажды, после того, как я закончил кольцевать птенцов, сидя вместе с ними на огромном гнезде, мне пришлось основательно и долго разбирать всю стенку гнезда, чтобы моя нога смогла достать до столба под гнездом.

Кольцевание птенцов серых цапель, чья колония в Большаковском районе располагалась на дубах, не могло не запасть в душу очень надолго: шум и доисторический гогот всей колонии, облитые белым скользким пометом стволы, по которым мы с Дольником карабкались к заветным гнездам, смрад полусгнившей рыбы в этих гнездах, попытки ударов нацеленными прямо в наши глаза острыми клювами уже подросших птенцов... («Послушай, Пан, - кричал мне Дольник с соседнего

дуба, балансируя на ветке с схваченным за горло большим птенцом, - я чувствую себя как Царли Цаплин!»).



Любимое занятие в дальних странах. Мы на Памире! Ловим птиц в Алайской долине, 1981.
Фото М. Шумакова.



Мы в Каракалпакии! Ловим птиц у озера Каратерен, 1988. Фото автора.

Одним из самых эффектных результатов этой деятельности была срочная телеграмма Белопольскому из Центра кольцевания с запросом данных мечения одним из колец серии «В», поскольку Советское правительство получило ноту от Нигерийского правительства с требованием объяснений по поводу обнаруженной на территории страны, в дельте Нигера, «птицы с каким-то шифром» и словом “Moskwa”.

Первыми московскими орнитологами, проявившими интерес к Рыбачинским ловушкам, оказались самые известные и «маститые»: Георгий Дементьев, Юрий Исаков и Савва Успенский. В сопровождении известного зиновского орнитолога профессора Леонида Портенко и сотрудниц Центра кольцевания Татьяны Шеваревой и Маргариты Лебедевой, они появились на Куршской косе в октябре 1958 года, сразу же после нашего с Меженным приезда. Несмотря на кратковременность их пребывания на Двенадцатом, при многолюдном общении на ловушках мне сразу же бросилось в глаза ясно проявляемое уважение, какой-то особый пиетет отношения всех наших сотрудников к Дементьеву. Впоследствии, наблюдая на ряде конференций этого «главу советской орнитологии», как подобострастно называл его Анвер Рустамов, я понял причину этого особо проявляемого уважения. Профессор Дементьев, наряду с действительным широким биологическим кругозором, обладал и еще двумя замечательными качествами. Во-первых, он всегда серьезно, уважительно и абсолютно на равных беседовал со всеми, включая студентов, и, во-вторых, обладал и внешностью, и всеми атрибутами настоящего русского интеллигента. Его свободное владение основными европейскими языками и умение поддерживать оживленную беседу на любые орнитологические темы со всеми зарубежными коллегами, которые, хоть и редко, но всё же появлялись на наших конференциях, резко контрастировало с нашей тогдашней языковой серостью и «зажатым» советским поведением при общении с иностранцами.

И впоследствии многие орнитологи приезжали на Куршскую косу именно для знакомства с Рыбачинскими ловушками, когда молва о них победно прокатилась по всему птицеловному братству страны. Это были и Икар Бородихин из Алма-Аты, и Ахматбек Кыдыралиев из Фрунзе, и Римма Зацепина из Казани, собиравшая всю информацию по излюбленным ею славкам, и Александр Цвелых, Валентин Серебряков и Анатолий Полуда из Киева.

Программы совместной работы с прибалтийскими орнитологами были в шестидесятые годы очень модными проектами на Биостанции, по крайней мере Виктор Дольник настойчиво пытался проводить их в жизнь. Именно тогда на косе вместе с Дольником работал энергичный весельчак Юри Кескпайк из Эстонии, а в 1965 году на Двенадцатый для помощи при массовом отлове птиц приехали латыши Янис Вискне, Янис Балтвилкс, Айварс Меднис и Георг Леиньш из лаборатории, которую возглавлял Харий Михельсон. К сожалению, тогдашний осенний пролет отличался довольно умеренным количеством птиц, и такой массовой технической помощи нам не потребовалось, но совместная работа на долгие годы определила наши дружественные связи с этими очень активными и прогрессивно мыслящими орнитологами. Неоднократно и мы посещали их лаборатории, и особенно запомнившийся нам полевой стационар в плавучем домике на озере Энгуре. Янис Вискне, яркий представитель лучших мужчин своей страны, всегда напоминающий мне какого-то голливудского

артиста-супермена, впоследствии возглавивший их лабораторию, всю жизнь занимался тщательными исследованиями популяций озерных чаек.

В сентябре 1971 года Двенадцатый неожиданно посетили шумные участники проходившего в Литве совещания по численности охотничье-промысловых видов животных, и я привычно рассказал им о нашей работе, проведя их через самую эффектную в те годы «вторую» ловушку. Среди участников мне запомнились энергично-напористый Эрнест Ивантер и очень общительный Алексей Яблоков. С последним, ставшим при Ельцине одним из наиболее популярных советников-академиков президента, у меня в 1986 году состоялась любопытная переписка. Он написал, что после просмотра моей книги «Демография птиц» приглашает меня участвовать в написании коллективного обзорного труда на английском, призванного пропагандировать на Западе популяционные исследования в СССР. В письме, однако, была приписка, что «популяционный подход в Вашей книге не первостепенный». Из-за этой приписки я так и не стал автором этого обзора, так как стал за чем-то объяснять Яблокову, кто же в нашей стране является настоящим популяционистом, на что в очередном письме он ответил: «Раз их так мало, то нечего и пропагандировать!»

С большими группами крикливо-шебутных студентов с единственной целью показать им живых птиц в руках приезжали на Двенадцатый и свехобщительный одессит Анатолий Корзюков, и тихая псковитянка Людмила Урядова, и восторженная Наталья Гергилевич с группой архилюбознательных юннатов питерского зоопарка.

Наибольшее количество студентов, а вернее сказать, студенток, ибо на биофаках, как и в мои студенческие времена, женский пол по-прежнему преобладает, приезжало к нам, конечно из Калининградского университета, особенно в те годы, когда туда перешел работать Белопольский. Он сам, а иногда его кафедральная подруга Нелли Одинцова, пухлая блондинка, давно перешагнувшая бальзаковский возраст, регулярно привозили целые толпы весьма свободных в общении, а временами и весьма разнузданных девиц. Одинцова, прозванная Дольником «Один Сова», с благосклонной помощью Белопольского быстро состряпала из наших данных отлова птиц кандидатскую диссертацию, в которой главным выводом стало высоконаучное утверждение о том, что разные виды мигрируют в разные сроки, а самым сложным методом исследований был «процент от всего количества». Достойным сожаления было даже и не качество этой «диссертации», а тот ошеломляющий факт, что она не только не работала на наших ловушках, но с большим трудом распознавала птиц и в природе, и даже в руках.

Со временем студенток стал привозить на Двенадцатый уже другой кафедральный сотрудник, энтомолог Николай Сахнов. Стройный и неглупый молодой человек с приятными манерами, пользующийся успехом у женщин (и, несомненно, этим успехом пользующийся), Сахнов был верным учеником Белопольского по части приверженности почти каждодневному застолию с обильным возлиянием. На Биостанции он быстро сошелся со всеми мужчинами, а особенно - с Александром Бардиным, но почему-то долго не мог заслужить симпатий наших сотрудниц, в то время ежедневно работавших на Двенадцатом. Поступив в аспирантуру Зоологического института к Владимиру Тряпицыну (в последние годы почти круглогодично работавшему за границей), он, однако, не

проявлял особого рвения в настоящей науке, возможно потому, что всё свое время тратил на довольно крупные заработки: будучи прекрасным рисовальщиком, работал на немецкие картографические фирмы.

На втором месте по численности приезжавших студентов были московские вузы - МГУ и МГПИ, и лишь на третьем месте оказались студенты из Ленинграда - Университета, Герценовского пединститута и Лесотехнической Академии. На длительной или кратковременной практике, и на временной работе были также студенты из Пскова, Минска, Петрозаводска, Горького, Свердловска, Воронежа, Куйбышева, Одессы и даже Душанбе. Среди всей этой бесконечной студенческой вереницы лишь отдельные личности, появлявшиеся или работавшие на Двенадцатом, запоминались или своей особой преданностью всем заботам о клеточных птицах, как, например, Людмила Хотулёва, или же тем, что впоследствии стали настоящими специалистами в биологии, как, например, Геннадий Гришанов, Гедиминас Валькюнас, Татьяна Кашенцева, Владимир Бабенко, Николай Морозов, Юлия Бояринова. Разумеется, о тех студентах, кто впоследствии стал сотрудником Биостанции, речь будет особая.

Среди сторонних орнитологов наибольшее количество, пожалуй, прибывало из столицы. На Двенадцатом побывали в разные годы и всегда восторженно-говорливый специалист по хищным птицам Владимир Галушин, и доброжелательный трудяга в царстве куликов Павел Томкович, и очень серьезного вида «чаячий» орнитолог Виктор Зубакин, и не выпускавший фотокамеру из рук Михаил Штейнбах, и яркая супружеская орнитологическая пара, как супергерои кинобоевика, Сергей и Елена Смиренские. Известные зоологические имена старшего поколения, помимо уже упомянутых Георгия Дементьева и Юрия Исакова, можно дополнить Александром Формозовым и Ангелиной Судиловской, посетившими нас летом 1965 года, и Владимиром Гептнером - в августе 1971 года. Будучи гидом Формозова и Судиловской не только при посещении ловушек, но и при экскурсии по косе, я заодно показал им около 20 птичьих гнезд на нашем пути, которые были уже найдены ранее, чем вызвал удивление Формозова, спросившего меня, каким же образом я запоминаю их местонахождение. Этот вопрос, в свою очередь, настолько изумил меня, что я не нашелся сразу, что и ответить, так как Формозов для меня был как раз непререкаемым авторитетом во всем, что касается полевых исследований всех наземных позвоночных (тем более, что сам Александр Николаевич сформировался, как зоолог и эколог под несомненным влиянием знаменитого Эрнеста Сетона-Томпсона, который был, по сути дела, первым в мире экологом).

Из часто мелькавших на Двенадцатом москвичей наиболее регулярно появлялись сотрудники орнитологической лаборатории МГУ, прозванные нами «святниками» или «ушатниками», поскольку приезжали они исключительно за совами, которых использовали для изучения, как мы тогда говорили, «чего-то там в ушах», а именно – структуры слуховых центров продолговатого мозга. Началось это осенью 1966 года, и первой была Лариса Барсова, дама решительного характера и сугубо ученого вида. Впоследствии, в разговоре со мной, она вспоминала, что по приезде поспешила сразу же протянуть Виктору Дольнику официальную бумагу с просьбой предоставить для работы несколько пойманных в ловушки сов, и Дольник, сидевший тогда возле горячей печки с открытой

дверцей, быстро пробежал бумагу глазами, картинно разорвал ее и бросил в огонь со словами: «Мы тут не формалисты, если для науки надо, то дадим! Впрочем, сов мы специально не ловим». Действительно, в те годы мы не ходили по ловушкам ночами для отлова сов и пассивно довольствовались только теми, которые оказывались в ловушках при первом утреннем обходе. Московские совятники, хотя и были ушными специалистами, но нам, можно сказать, открыли глаза: оказалось, что залетающих в ловушки ночью сов можно было загонять в камеры таким же образом, как и остальных птиц днем. С тех пор количество кольцуемых нами сов резко увеличилось, хотя какая-то часть их по-прежнему уходила на нужды «ушатников». За ними в 1968-1974 годах приезжала целая команда жаждущих покопаться в птичьих ушах и околоушных науках: Станислав Гурин, Александр Черный, Эмиль Моренков, Людмила Прокофьева, Владимир Воронежский. Однажды, в сентябре 1989 года, появилась и Ксения Авилова, хотя ее научные интересы касались других морфологических аспектов – строения сетчатки глаза, и на других объектах. Приезжала и еще одна вечная «ушатница» - Татьяна Голубева, теперь уже давно соединившая свою судьбу с нашим Валерьяном, то есть Валерием Гавриловым.

С целью экономии места и сбережения собственных нервов «ушатники» перевозили сов в самолете спеленутыми, что, однако, не всегда оберегало от случайностей. Они рассказывали, что однажды воробьиный сычик вырвался и стал, к радости скучающих пассажиров, стремительно носиться по салону. Одна из его мух-кровососок, которые всегда покидают хозяина при его необычных телодвижениях, села на шею весьма полного мужчины, и всё оставшееся время полета вспотевший бедняга волчком извертелся в кресле, пытаясь освободиться от этой твари, вызывающей мучительный зуд.

Из Питера за птицами приезжали гораздо реже. Лишь однажды, в сентябре 1980 года, на ловушки заглянула звездная супружеская пара «самого» Георгия Носкова с всегда оживленно беседующей только о своей науке Татьяной Рымкевич. Приехали они тогда из Паланги, вместе с другими участниками очередного совещания «Вид в ареале» – Георгием Линдеманом, Сергеем Варшавским, Виктором Щеголевым. Носков с Рымкевич, пробыв всего два дня, увезли в транспортной клетушке каких-то птиц, необходимых для очередных работ по фотопериодической регуляции линьки.

Из того же Петергофского института к нам регулярно навещалась улыбчивая и доброжелательная, с мягким грудным голосом, Елена Гагинская, старшая сестра Анны Гагинской, первой супруги Носкова, детскоголосой обожательнице не только всего птичьего, но и всего французского, включая любителей птичек. Старшей Гагинской, из орнитолога ставшей цитологом, каждую весну настоятельно требовались самки зябликов, ибо именно они служили ей в роли белой мышки для исследований процесса оогенеза и ядерных структур в ооцитах птиц. Из всех приездов Лены нам более всего запомнился один, когда она, прогуливаясь по морскому берегу в поисках привычного янтаря, неожиданно наткнулась на хорошо запечатанный деревянный бочонок. Принесенный на Двенадцатый и осторожно вскрытый, он в течение нескольких дней являлся

причиной наших очередных спонтанных праздников, поскольку был до краев наполнен красным вином типа Кьянти (по словам наших знатоков).

Зиновские паразитологи, после экспедиций начала шестидесятых годов, вновь появились на Куршской косе в конце семидесятых в лице Елены Дубининой, долгое время занимавшей пост Ученого секретаря нашего института (бывшей моей сокурсницы, называемой нами тогда «Ленусик» по контрасту с ее внушительной фигурой), и ее подопечного Сергея Миронова. Миронов, спокойный и уравновешенный молодой человек, надолго присосавшийся к нам и на косе, и в некоторых наших экспедициях, собирал с птиц перьевых клещей, и запомнился нам постоянным сидением за биноклем возле ловушек и паутиных сетей. Вместе с Мироновым с 1979 года частым гостем у нас, и также во время наших экспедиций, был и другой паразитолог, бывший студент во времена Белопольского, хорошо нам известный и ставший со временем почти полностью своим человеком Гедиминас Валькюнас. Стройный и весьма умный молодой человек, удивлявший меня абсолютно правильной интеллигентной русской речью без всяких признаков акцента (в противоположность появляющимся у нас другим специалистам из Литвы), он исследовал паразитических простейших крови птиц, работая под общим руководством нашего Мстислава Крылова, и брал кровь, срезая у птиц коготок. Его исследования помогли некоторым нашим орнитологам на вполне достоверном уровне установить степень изоляции птиц Куршской косы от других пролетающих здесь популяций. Валькюнас имеет любопытное хобби на практически профессиональном уровне: он - опытный эксперт - кинолог.

Постоянными из года в год гостями Двенадцатого были и белорусские вирусологи и паразитологи, обследовавшие пойманных птиц. Начиная с весны 1974 года и на протяжении более 10 лет они с радостными улыбками приезжали на собственном автобусе большой, веселой и деловой командой, включающей Ивана Воинова из Института экспериментальной медицины, Александра Гембицкого и Владислава Солоухина из зоологического отделения Академии наук, и весьма разновозрастных лаборантов. Серологическое и вирусологическое обследование птиц являлось для нас спасительным козырем при проведении экскурсий с самыми разными группами праздных туристов, поскольку на дежурный вопрос о практической значимости нашей деятельности мы могли дать ужасающую картину массового и регулярного переноса птицами опаснейших болезней из одного полушария в другое. Разумеется, при этом мы сами явно представляли неким резервуаром этих инфекций, так как на протяжении многих лет общались с птицами теснее, чем с членами своей семьи.

Один московский вирусолог, посетивший Двенадцатый в составе группы из Всесоюзного института экспериментальной медицины в 1963 году, долго расспрашивал нас о самочувствии и наших болезнях, уверяя, что мы наверняка уже не раз переболели и приобрели иммунитет ко многим формам инфекций. Тогда мы наивно улыбались и скептически выслушивали этого специалиста, полагая, что не так страшен черт, как его малюют. И лишь гораздо позднее мы вспомнили об этом, когда однажды ранней весной на Двенадцатом работали Владислав Ефремов, Михаил Яблонкевич и наша постоянная, с 1964 года, лаборантка из местных жителей Раиса Белова (после годов

перестройки резко трансформировавшаяся из покорно-преданной советскому режиму в покорно-преданную всяким церковным делам православной веры). Они тогда с большим интересом и долго вертели в руках и тщательно рассматривали черного дрозда с британским кольцом, который был каким-то странным и, видимо, не совсем здоровым. Вскоре все трое, находившиеся к тому времени уже в разных местах, заболели чем-то не очень понятным, напоминающим длительно не проходящий грипп с мучительной ломотой всего тела. Все они, конечно, выздоровели, но стоит упомянуть, что недавняя вспышка в Израиле редкого типа лихорадки с необратимыми изменениями мозга, переносимой птицами и попадающей к людям через комаров, привела к ряду летальных исходов.

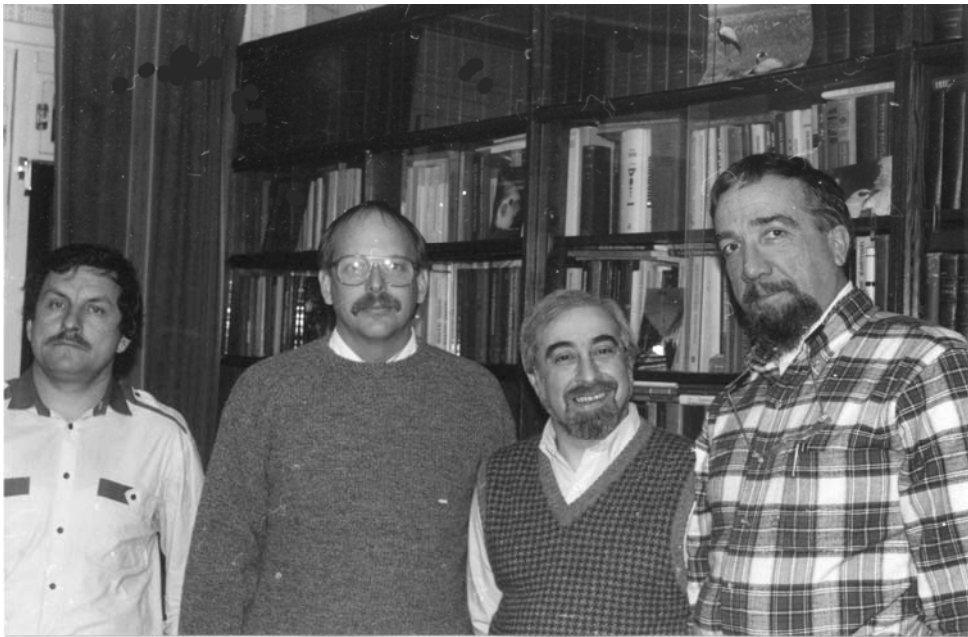
Первой ласточкой иностранного вторжения на Куршскую косу стал вездесущий поляк Эвгениуш Новак, чрезвычайно энергичный орнитолог, ставший вскоре жителем Германии, пробившийся в 1969 году на тогда на нашу полностью закрытую от чужих глаз территорию. Поток иностранцев, и, прежде всего немцев, тонкой струйкой начавшийся в 1989 году, обрушился на косу с 1990-х. Уже в мае 1991 года на Двенадцатом с изумлением рассматривали наши ловушки датские орнитологи, а в октябре того же года к нам пожаловали считавшиеся потом самыми близкими нашими коллегами сотрудники орнитологических учреждений Германии: Петер Бертольд, Рольф Шленкер, Ульрих Куэрнер из орнитологической станции Vogelwarte Radolfzell, заменившей для Германии Vogelwarte Rossitten, а также бывший восточногерманский деятель Аксель Зифке и слишком молодо выглядящий профессор Франц Байрляйн. Неоднократно приезжал и весьма уже пожилой Вильгельм Лемке, из тех опытных любителей, фанатично преданных орнитологии, которые знают птиц в природе порой лучше профессионалов. Проведший во время войны в советском плену несколько лет, он так проникся добрыми чувствами к нашему народу, что никогда не скрывал этого, и теперь старался всячески помогать Биостанции.

С Петером Бертольдом, директором станции Радольфцелль, мы все познакомились впервые задолго до этого, ещё в октябре 1974 года, во время Таллинской конференции по птицам Балтийского бассейна. Следует заметить, что на этой конференции было очень много орнитологов, не имеющих прямого отношения к птицам Балтийского бассейна: и весьма говорливый Леонид Назаренко, и радостно-вездесущая Татьяна Ардамацкая, и спокойный Константин Юрлов, и деловитый Святослав Приклонский. Здесь же мы впервые познакомились не только с Бертольдом, но и со старейшиной Гельгоганда Готфридом Фауком, и с финским полевиком Пертти Сауролой, а также с нашими польскими коллегами Пшемиславом Буссе, Мачеем Громадским и Войцехом Каней. Позднее с Бертольдом мы встречались на XVIII международном орнитологическом конгрессе в Москве в августе 1982 года. С самого начала Бертольд поразил меня своей напористостью, своим явно холерическим темпераментом, не немецкого, а южного типа, своей готовностью болтать на любые темы с интересом и воодушевлением.

Проявляя особое дружелюбие к Виктору Дольнику, Петер Бертольд не обошел своим вниманием и его сотрудников. Когда его избрали Президентом XXII Международного орнитологического конгресса, который состоялся в 1998 году в южноафриканском городе Дурбане,



Немецкому другу – полную чашу! Аксель Зифке, Михаил Марковец и Марина Долголенко. Рыбачий, Рыцарский зал, 1991.



Американские орнитологи в гостях у питерских. Владимир Храбрый, Дуглас Сигель-Кози, Михаил Яблонкевич, Джон Ральф. Санкт-Петербург, 1991. Фото автора.

он в начале 1995 года неожиданно ввел меня в состав Программного Комитета конгресса. Участвуя (с некоторым напряжением из-за неадекватного знания разговорного английского) в работе этого комитета в октябре 1995 года в Южной Африке, мне посчастливилось посетить не только Дурбан, но и несколько заповедников провинции Наталь, куда нас возили на автобусах, проявляя исключительную заботливость и поразительный пиетет.

Тогда стояла южноафриканская весна, и помимо всяких носорогов, бегемотов, жирафов, мартышек и бородавочников, вокруг нас бушевал яркий птичий фестиваль, что особенно было заметно по шумным ткачикам, хлопотавшим в своих многочисленных колониях на деревьях, напоминавших мне увешанные длинными грушами плодовые сады. Во время перерывов одного из заседаний, в заповеднике Бонаманци, наши хозяева организовали отлов птиц в путанки, и мы могли, наконец, не только посмотреть, но и подержать в руках таких необыкновенных существ, как нектарниц, кустарниковых сорокопутов, цистикол и бюльбюлей. Не менее любопытным для меня было познакомиться с орнитологами разных стран, которые до этого существовали лишь как абстрактные авторы известных книг и статей, а теперь вдруг предстали живыми людьми с самыми неожиданными характерами и обликом. В нашей компании был и деливший со мной гостиничные номера, очень молодо выглядящий, любитель классического театра Андерс Папе Мёллер, и печальноглазый Джон Вингфилд, и надменный толстяк Уолтер Бок, и высоколобый аристократ Арье ван Ноордвийк, и вкрадчивоголосый Колин Бибби, и вдумчивый Лукас Енни, и крайне экстравагантный, одевающийся как клоун Стивен Пайпер, и невозмутимо-серьезный Лес Андерхилл, и, наконец, оживленно-суетливый, не выпускавший бинокля из рук и с придыханием восхищавшийся всеми увиденными птицами Фернандо Спина.

Впоследствии на Куршскую косу охотно приезжали и немецкие студенты, например, подружившийся с Никитой Чернецовым Вольфганг Фидлер, молодой человек аристократической внешности, работавший на путанках в Рыбачьем, и широко известные в научном мире профессора Клаус Шмидт-Кёниг и Эберхардт Гвиннер. Самое важное для материального положения Биостанции посещение состоялось еще в октябре 1990 года, когда приехал знаменитый в Германии натуралист и меценат Хайнц Зильман. Фонд Зильмана и Vogelwarte Radolfzell, а также немецкий Клуб друзей Куршской косы и Рыбачьего практически стали нашими финансовыми спасителями в непредсказуемых экономических условиях новой России (по плану, по крайней мере, до 2003 года).

С 1994 года косу с воодушевлением осваивали английские орнитологи, а временами появлялись и шведы. Англичане, в основном, были любителями, приезжавшими поколетьцевать птиц в свой отпуск (среди них были и служащие, и бизнесмен, и булочник, и полицейский). Все они, как истинные любители, вели счет тем видам птиц, которых они подержали в руках и окольцевали, и Куршская коса для многих стала счастливым местом, на много пунктов увеличившим их список. Приглашением нанести ответный визит в птицеловные места Англии воспользовался лишь Михаил Марковец.



Встреча в райском уголке. Члены Программного комитета 22 Международного орнитологического конгресса. Вверху: Фернандо Спина и Лукас Енни. Внизу: Крис Браун, Джон Вингфилд, Тимоти Кроув, Арье Ван Ноордвийк, Петер Бертольд, Колин Бибби. Бонаманци, пров. Наталь, ЮАР, 1995. Фото автора.

Двенадцатый, в отличие от самого здания Биостанции в Рыбачьем, стал для постоянно работавших там сотрудников родным домом, именно тем замечательным местом, о котором так мечталось весной в городе. Несмотря на всю типично российскую неустроенность, на частые перебои с нормальным питанием, когда временами в отсутствие специальных поварих, в качестве которых выступали наши рабочие и лаборанты из местных жителей (гордо-независимая Ирина Шметкова и неудержимо-говорливая Валентина Буря), по собственной же безалаберности мы

поглощали за обедом так называемое «питательное дрызло», несмотря на оторванность и от семьи, и от обычного многолюдного общества, каждый из нас всегда стремился именно на Двенадцатый. Привычная работа, привычные коллеги, а самое главное – полная свобода действий, ограниченная только собственной совестью и собственными интересами – вот основа нашей любви и вечной признательности судьбе за возможность жить так, как мы хотели.

Вольготно чувствуя себя на Двенадцатом полными хозяевами, мы всячески старались по мере наших ограниченных возможностей и способностей украсить там наше пребывание, и часто занимались строительством. Сначала это были некие индивидуальные хижины, размером слегка превышающими размеры кровати, но гордо называемые нами домами (шумаковский домик и мой, прозванный панским, поскольку «Пан» было моим постоянным прозвищем). Впоследствии же под непосредственным руководством Дольника, нашего особо склонного к мужскому рукоделию директора, мы стали возводить строения, способные по замыслу не только обеспечить сотрудников и гостей местом для круглосуточного пребывания, но и привлечь внимание своей оригинальной архитектурой и затейливыми деревянными кружевными деталями в духе чисто русских национальных мотивов. Так возникло и неуклюжее сооружение «слоновника», со знаменитой и для нас, и для гостей нижней столовой - кают-компанией, свидетельницей многих тысяч разговоров, обсуждений, мелких ссор и больших и маленьких пьянок, и здание так называемого обработочного домика, выстроенного в виде избы столь милой сердцу Дольника Бабы-Яги, и получившего большую популярность среди всех гидов, ежедневно привозящих сотни туристов к этому домику, стоящему возле наиболее уловистой нашей ловушки. Именно эта изба, и всё пространство возле нее истоптано многими тысячами празднующих школьников, туристов-одиночек, любознательных семейных групп и бесконечно движущихся лент дисциплинированных немецких туристов пожилого возраста, не говоря уже о коллегах-орнитологах из всех европейских стран.

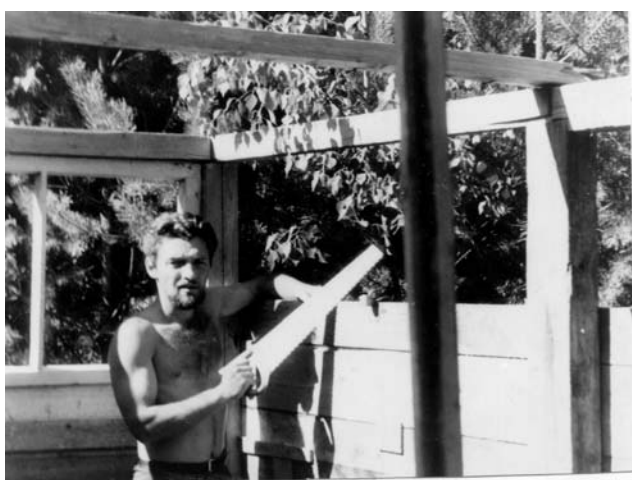
Все эти неожиданно для глаз возникающие строения среди однообразного частоккола молодых сосен привлекают внимание гостей, размягчают их сердца и, по-видимому, пробуждают интерес к их обитателям. Многие из визитеров, по крайней мере из тех, с кем удалось побеседовать, обычно с воодушевлением воспринимали и нас, и нашу экзотическую работу, и наш образ жизни. Мне, правда, показалось, что степень такого воодушевления была прямо пропорциональна той погоде, при которой происходила беседа. В штормовые дни, или же при бесконечных осенних дождях или возвратных весенних холодах, случайно забредшие в это время туристы смотрели на нас с явным сожалением, и, казалось, искренно сочувствовали. А однажды я увидел на лицах нескольких немецких туристок странную смесь жалости и недоумения, когда они случайно оказались возле задней стены нашего «слоновника». Эта стена из плохо сложенного кирпича и кое-где прикрытая жалкими остатками рубероида так и не была нами в свое время закончена и по российской привычке брошена недоделанной навсегда, что ярко контрастировало с фасадом здания, витиевато украшенного явно рассчитанными на гостей ставнями с изображением фантастических птиц.



Хотя символ Биостанции Рыбачий – ястреб-перепелятник, вход на Двенадцатый стережет ворон. 1976. Фото М. Шумакова



«Слоновник» в завершенной стадии украшения. Двенадцатый, 1980. Фото автора.



Всякое строительство, в том числе Рыбачинских ловушек, а также и индивидуальных коттеджей (размером с кровать) и сказочных избушек, было любимым занятием сотрудников Биостанции в летнее время.

СОРАТНИКИ ПО ПТИЧЬЕЙ ПУТИНЕ

Коса моя, я вновь с тобой!
Дыша восторгами свободы,
Я с дюны, где морской прибой,
Ныряю под лесные своды.
Вокруг – жестокая страна,
За морем – шведов чуждый берег,
Лишь здесь всегда моя весна,
Лишь здесь распахнуты все двери.
И только здесь, под пенье птиц,
Под вечный шорох обновлений,
Я пролистаю книгу лиц,
Событий, взлетов и падений.
Я вспомню всех, кто был со мной
В рутинной пропасти науки,
Кто в клубах пуха за спиной
Тянул за Синей Птицей руки.
Кто в поднебесье, как шальной,
На мачтах сетчатых фрегатов
Ловил над пенною волной
Лучи янтарного заката.
На благосклонности судьбы
Не ставлю крест: мы все под Богом,
И, может, даже Он забыл,
Куда ведет моя дорога.
Но где б ни кончилась она,
Какого дня, какого года,
Со мной всегда моя Весна,
Моя Коса, моя Свобода ...

Когда-то, во времена моей совсем недавней, как кажется, молодости, в советском обществе циркулировало известное выражение «Кадры решают всё». Не знаю, всё ли решали кадры в других областях человеческой деятельности, но уж в науке результативность работы, конечно же, зависит в первую очередь от качества впряженных в проблему мозгов и от чисто человеческого характера тех личностей, которые этими мозгами обладают. Известно, однако, что и при счастливом сочетании нужного количества мозгов нестандартного типа мышления с нормальным административным управлением научная результативность зависит и от прочих мозгов и рук, т.е. от основного состава

исполнителей, тем более, что добросовестность работы в науке зачастую не может быть проверена непосредственно во время работы. Все эти нехитрые соображения, разумеется, имелись в виду при любом наборе кадров, в том числе и на нашу Биостанцию. Именно поэтому все изменения первоначального состава сотрудников проходили обычным в таких случаях образом - после длительных обсуждений, выяснения мнений и анализа всей информации о той или иной персоне.

Трудность здесь состояла и в том, что не каждый намечаемый кандидат выражал согласие работать так далеко от родного дома и семьи. И по этой же причине супруги работали вместе, тем более, что и сами семьи часто у нас рождались как служебные романы на фоне наполненного птичьим пением леса со смолистым сосновым ароматом, совместных морских купаний и теснейшего общения во всяких палатках, «засидках», и во время весьма частых посиделок с бесконечным поглощением чая и кофе, а также и более горячительных напитков в нашем «слоновнике» на Двенадцатом и на Верхней кухне в Рыбачьем.

Понимая всю схематичность мемуарных обобщений, попытаюсь всё же описать характерные особенности сотрудников Биостанции, так, как они запечатлелись мне и при первом знакомстве, и в первые годы работы.

Первооткрыватели

Планам моей первой поездки на Куршскую косу осенью 1958 года предшествовали не только беседы с Мальчевским, но и знакомство с директором Биостанции Львом Белопольским, находившемся в то время в Ленинграде. По каким-то причинам Белопольский явился ко мне домой, благо что жили мы тогда на Васильевском острове, совсем недалеко от Зоологического института. Меня он дома не застал, а мама выразила свое впечатление от доктора наук Белопольского весьма своеобразно, сообщив мне, что «приходил директор какой-то станции, небольшой такой, суетливый, похож на снабженца». Действительно, внешность Льва Осиповича была далека от стандартного обывательского представления об ученом, тем более докторе наук. Этот небольшого роста человек, почти всегда неброско и небрежно одетый (нечто вроде лейтенанта Коломбо в известном детективном сериале), с желтыми от курева пальцами, вечно куда-то спешащий со своим выдавшем виды портфелем, в котором, помимо бесконечных деловых чиновничьих бумаг часто поблескивала и бутылка водки, не производил впечатления весьма уважаемого человека, которого он действительно и безусловно заслуживал. Лишь впоследствии я узнал о его многогранной и кипучей деятельности: это и изучение морских и пушных зверей Чукотско-Анадырского края, когда он проехал на собачьих упряжках за одну зиму более четырех тысяч километров по тундре, и легендарный морской поход на ледоходе «Сибиряков», и участие в знаменитой ледовой эпопее на «Челюскине» под руководством Отто Шмидта, и организация заповедника «Семь островов» возле Мурманского побережья, вошедшего впоследствии в состав Кандалакшского заповедника, и работа в Судзухинском заповеднике.

Само существование Биостанции в Рыбачьем, возродившей орнитологические исследования на Куршской косе после прекращения деятельности немецкой станции, тоже, как оказалось, было обязано Белопольскому. Комиссия от Академии наук, в состав которой входили и орнитологи Зоологического института, обследовавшая в 1956 году пос. Рыбачий на предмет учреждения советской орнитологической станции взамен немецкой, выразила большое сомнение в возможности налаживания полноценной научной активности, исходя из бытовых условий самого поселка, бывшего Rossitten, в который еще продолжали съезжаться новые поселенцы из многих областей России. И только Белопольский, со свойственным ему организаторским оптимизмом, сразу же заявил, что берется все уладить. И действительно, получив решение Президиума Академии наук об учреждении Орнитологической станции ЗИН АН СССР (ее первое официальное название) и назначенный ее директором, Белопольский уже к октябрю 1956 года добился выделения нужных кадров, финансов, транспорта, и получил для станции взамен предполагавшегося небольшого домика просторное двухэтажное здание бывшего дома отдыха. В этом гулком и мрачноватом здании гостиничного типа, с длиннейшими коридорами и постоянным ощущением влажного холода, во время войны, по рассказам, якобы размещалась школа немецкой военной разведки, а после войны все там живущие иногда встречались по ночам с призрачным образом майора фон Трахтенберга.

Все особенности характера и поведения Белопольского служили постоянной мишенью весьма дружелюбных насмешек и всяческого рода подтруниваний всех его подчиненных. И его как топором рубленый почерк, и часто встречающиеся нелепые ошибки, когда он, например, накладывая свою директорскую резолюцию на заявлении, размашисто писал «Не воз рожаю!», и явные затруднения при публичных выступлениях, и полная беспомощность в иностранных языках. Тем не менее, его полная открытость, его настойчивое достижение поставленных целей, его бесконечный оптимизм и удивительное дружелюбие к молодым сотрудникам снискали ему и уважение, и то особое чувство настоящей признательности у большинства его сотрудников, какое редко бывает в научных коллективах.

В какой-то степени первые сотрудники Биостанции олицетворяли собой и всю Восточную Прибалтику: орнитологи Вейно Эрик и Олав Ренно, а также паразитолог Вильма Йыгис – из Эстонии, Ян Якшис – из Латвии, почти все остальные – из Ленинграда. Литовцев в штате не было, видимо, просто потому, что подобная станция, Вентес-Рагас, уже существовала на противоположном берегу Куршского залива. Говорят, Ренно очень тяготился жизнью вне Эстонии, его постоянно угнетала неустроенность и бесхозяйственность всей колхозной жизни в поселке Рыбачий – российской глубинке, сменившей глубинку немецкую. Когда после долгого перерыва Ренно приехал в Рыбачий в 1976 году, на празднование 20-летия Биостанции, он долго, с выражением удивления на лице, ходил по коридорам станции, заглядывая в каждый кабинет, и приговаривал: «Да, это не уголок!» По-видимому, он имел в виду, что Биостанция его молодости была, по его представлениям, забытым богом уголком, да к тому же чужим.

Среди первооткрывателей была и Дина Люлеева (в то время еще носившая фамилию Бекжанова), выпускница нашего ленинградского биофака. Плотного и крепкого телосложения, с

твердой и временами очень решительной походкой, способная мгновенно обидеться и вспылить, но иногда, особенно во время чаепития с любимыми ею простенькими конфетками (как зримый контраст с суровым блокадным детством) - с выражением полного умиротворения на своем широком лице с сильными очками, одетая почти всегда по-походному, она представляла собой типичный образ женщины в полевых условиях, из какой-нибудь геолого-разведочной партии. Дина Люлеева стала нашим уникальным сотрудником, достойным книги Гиннеса, по продолжительности своей непрерывной работы – ровно 40 лет, с августа 1956 года по сентябрь 1996 года. Не менее уникально и то, что в течение всей этой эпохи основным объектом ее исследований были только стрижи и ласточки, не только на Куршской косе, но и в других местах нашего необъятного тогда государства. Наряду с редким постоянством в своей приверженности Биостанции, обладала Люлеева и очень сильно выраженной временами «охотой к перемене мест»: она объездила не только те весьма отдаленные области нашей страны, куда нас посылали в экспедиции, но и по собственной воле в свой отпуск исколесила всё остальное пространство империи, особенно Дальний Восток. Никогда не расставаясь с фотокамерой и имея особую тягу к портретным съемкам, Дина являлась и наиболее продуктивным хроникером Биостанции.

В этих путешествиях ее иногда сопровождал и муж, тоже сотрудник нашей Биостанции Валентин Люлеев. Впервые появившись на Куршской косе в 1958 году как механик одного из судов, Люлеев, со свойственным ему характером думающего «выходца из народа», вскоре почти навсегда прикипел к Биостанции, став со временем совершенно незаменимым человеком как для Льва Белопольского, так и для следующего директора – Виктора Дольника. Со стройной подтянутой фигурой, с внимательным выражением глаз на располагающем скуластом лице, он охотно брался за любые хозяйственные дела, не ограничивая себя только должностными, как инженера, обязанностями. Своими золотыми руками русского самородка, с вечно грязными и замасленными пальцами, он мог починить любой двигатель, не говоря уже о более простых механизмах, но самое ценное в характере Люлеева – он брался за это почти всегда с интересом и даже с энтузиазмом. Начиная какое-либо новое эпохальное дело, он не всегда располагал возможностями его завершения, и сразу же переходил к следующему, целиком подчиняясь своей увлекающейся натуре. В среде местных жителей он явно был как свой среди своих, сльвя у них человеком весьма незаурядным и с чувством юмора, поскольку всегда охотно рассказывал какие-нибудь веселенькие истории. Окончив со временем биофак Калининградского университета, он по-прежнему предпочитал заниматься делами административно-хозяйственными, и совершенно освободил директора Биостанции почти от всех забот во всей этой бесконечной хозяйственной суете. Подружившись со многими сотрудниками Зоологического института, Люлеев неоднократно ездил с ними в эпохальные экспедиции в Антарктиду.

В далекий октябрьский день 1958 года меня с Андреем Меженным, впервые приехавших на Куршскую косу, повел на ловушки Вейно Эрик – единственный оставшийся тогда на наблюдательном пункте сотрудник после увольнения Яна Якшиса. Эрик был высок, плечист и могуч. Его широкое, с приятными чертами, лицо выдавало его интеллигентную сущность, но

неуемное здоровье, так и пышущее из его огромного тела, настолько контрастировало с его занятием, особенно когда в его необъятной ладони свободно помещалось до десяти пеночек, что можно было согласиться с мнением, которое мне однажды довелось услышать от сельского жителя: «Тебе, паря, пахать надо, а не пичужек тискать!». Вейно очень любил, заговорщицки улыбаясь, рассказать какую-нибудь забавную историю или анекдот, со своим мило звучащим типичным эстонским акцентом. А когда на Двенадцатый привозили почту, и среди нее был конверт из Центра кольцевания, Вейно тут же вскрывал его и торжественно объявлял: «Чиж с нашим кольцом – в Италии! Зарянка – во Франции!». Это были самые первые ощутимые результаты деятельности по кольцеванию, и его восторг можно было понять. Следует, правда, заметить, что и по прошествии двух лет он продолжал зачитывать эту информацию с тем же пафосом, как бы оправдываясь перед кем-то. Вейно проработал на станции недолго, поскольку после женитьбы на сотруднице станции, паразитологе Валентине Глухой, в 1961 году вместе с женой ушел со станции, причем Валентина – в лабораторию паразитологии Зоологического института, а уход Вейно в Институт озераведения был сопряжен с кардинальной сменой объекта исследований – карпы вместо птичек (а потом и вовсе другое: Военно-Медицинская Академия).

Андрей Меженный, который, по замыслу Белопольского, должен был заменить Яна Якшиса на Двенадцатом, представлял собой, как я теперь сознаю, одну из наиболее колоритнейших персон в орнитологической среде, но только по своей внешности, поскольку в науке следы его оказались нечеткими и размытыми. Он был уже весьма опытным, зрелым человеком, прошедшим финскую войну и получивший там, к счастью, не очень тяжелое ранение. Крепкого телосложения, с правильными и приятными чертами лица, украшенного черной бородой «свободного роста», с интеллигентной речью и часто улыбающийся, он производил бы впечатление обычного ученого, если бы не удивительная манера одеваться. Он неизменно ходил в кирзовых сапогах, и в полевых условиях, и в городе, и даже на научных конференциях. Одежда верхней части тела соответствовала нижней: обычно это была мягкая рубашка с широко распахнутым воротом и очень редко – пиджак (когда было уж очень холодно). Впервые я увидел Меженного в январе 1956 года на Первой Всесоюзной орнитологической конференции, проходившей в Ленинграде в здании ЛАХУ, куда я тайно пробрался, будучи еще первокурсником. Естественно, я обратил внимание на Меженного, во-первых, из-за его нестандартной внешности, а во-вторых, из-за иронической реплики, брошенной Мальчевским при появлении Меженного: «А вот и наш Нансен-Амундсен!».

Впоследствии, прожив вместе с Меженным на косе два полевых сезона, я убедился, что такая форма одежды была с его стороны глубоко продуманным поведением. Однажды, когда на пункт «Фрингилла» пришла очередная группа туристов, я увидел, как Меженный, зайдя в дом, подошел к зеркалу и, внимательно осмотрев себя, разорвал пошире намечавшуюся дыру на рубашке, затем расстегнул еще одну пуговицу на груди, выпустил посвободнее брюки из сапог и, широко улыбаясь, вышел на крыльцо к экскурсантам. Неудивительно, что при такой внешности его часто принимали за цыгана, особенно во время экспедиционных работ. Парадоксально, но его семья была тесно связана с Францией. Его супруга, художник, имевшая французские корни, жила под Ленинградом, в поселке

Лисий Нос, и, кстати, рядом с дачей Казимира Большакова – будущего директора Биостанции (вот она, пресловутая теснота нашего мира). Именно там, в Лисьем, появлялись иногда гости из Франции, и одна девушка из этих гостей стала впоследствии Меженному невесткой.

Шестидесятники

За исключением самого первого штатного состава сотрудников, когда их набор осуществлялся, видимо, более или менее случайно, все последующие персоны сами проявляли желание работать именно на Куршской косе. Многие из постоянных сотрудников Биостанции впервые побывали на Куршской косе в свои молодые, чаще всего - студенческие годы или же в первые годы после окончания университета, и именно это первое знакомство определило их дальнейшую судьбу. Таковы были первые супружеские пары Татьяна Блюменталь и Виктор Дольник, Инна Добрынина и Валерий Гаврилов, Наталья Виноградова и Марк Шумаков, и автор этих строк со своей первой супругой Еленой Бобковой (Паевской), так и не ставшей орнитологом и вскоре ушедшей в геологию.

Блюменталь с Дольником стали первыми из второй волны новых молодых сотрудников, постепенно осваивавших орнитологические позиции на Куршской косе. Татьяна Блюменталь с правильными, серьезными и слегка миниатюрными чертами лица, украшенными очками, чем-то напоминала девочку-отличницу, которую просто необходимо ставить в пример всем окружающим. Впрочем, улыбаясь и рассказывая что-то с необыкновенным жаром и долгими подробностями, она сразу же разрушала это впечатление. Первые годы Блюменталь с Дольником работали в единой упряжке при полном совпадении и научных интересов, и всех подходов к нашим материалам. Постепенно эти подходы стали, по-видимому, различаться, и мне вспоминаются долгие обсуждения и даже споры супругов при каких-то очередных обработках данных по энергетическим показателям, собранных при обследовании пойманных птиц. Тем не менее, союз этих наиболее продуктивных по тем временам сотрудников Биостанции, скрепленный появлением дочери Елены, продолжался бы, наверно, еще долго, не появившись летом 1966 года в Рыбачьем небольшая блондинка Татьяна Смирнова, очаровательная как по внешности, так и по характеру студентка 4 курса Ленинградского университета, специализировавшаяся по гидробиологии. Очарование это, видимо, настолько сильно поразило воображение Дольника, что уже в 1968 году Таня Смирнова стала Таней Дольник. В самое первое время с несколько скованным поведением, по-видимому, из-за ощущения своего вторжения в устоявшуюся структуру тогдашней Биостанции, она стала вскоре самой отзывчивой душой нашего коллектива. Все сотрудники, вне зависимости от пола и возраста, относились к Тане Дольник, как это принято говорить, с самыми теплыми чувствами (даже в тех редких конфликтных ситуациях, где ее имя было задействовано в своих интересах одной из сторон). И в самые последние годы, когда Татьяна появляется в Рыбачьем только в летние отпускные дни, один из молодых сотрудников восторженно заявил: «Вы для меня – номер первый!»

Татьяна Блюменталь, к тому времени молчаливо удалившаяся со станции, вскоре уже работала в Гумбарицах, хотя по-прежнему еще долго числилась сотрудником Биостанции в Рыбачьем.

Гумбарицы, этот новый пункт отлова и кольцевания птиц, организованный неугомным Георгием Носковым в 1968 году на побережье Ладоги, и впоследствии явившийся стимулом к организации в 1980 году нового, Нижне-Свирского заповедника, ныне носит название Ладожская орнитологическая станция (при Биологическом научно-исследовательском институте Петербургского университета). Именно здесь были установлены ловушки Рыбачинского типа, и, конечно же, Блюменталь вновь потянуло к привычному образу и жизни, и работы. Привычный образ жизни привел, естественно, и к созданию новой орнитологической супружеской пары: союз приехавшего из советской (а ныне уже почти буддистской) Калмыкии Анатолия Кукиша и Татьяны Блюменталь ознаменовался появлением дочери Надежды, взявшей себе немецкую фамилию матери. Редкость и оригинальность фамилии отца, разумеется, дали естественный повод для шутки о том, что же именно показала Блюменталь Дольнику с далекого берега Ладоги.

Инна Добрынина была одной из самых первых московских студенток, посетивших Куршскую косу наряду с первым ленинградским студентом – Георгием Носковым: они работали на ловушках уже осенью 1957 года. Добрынина, хрупкая миниатюрная девушка с большими глазами и сугубо женственным голосом, оказалась человеком весьма непреклонного характера, что не раз демонстрировалось и во времена ее работы на Биостанции, и впоследствии, когда она надолго возглавила Центр кольцевания и мечения животных. В отличие от других сотрудников, на Биостанции Добрынина почти не занималась полевыми работами, и ее лабораторные гистологические исследования касались преимущественно цикла активности гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системы птиц. Сменив место работы, она столкнулась с совершенно другой ситуацией – орнитологи страны настоятельно требовали от нее отнюдь не научной, а административно-хозяйственной деятельности: всем «птицеловам от науки» требовались кольца и в огромных количествах. Удовлетворить же эти запросы полностью оказалось не под силу даже весьма многочисленному по штатному расписанию Центру кольцевания - или колец производилось слишком мало, или они были неадекватного качества, или же их выпуск вообще не удавалось наладить. Набившая не только оскомину, но и много шишек история с кольцами, не понаслышке знакомая автору этих строк с шестидесятых годов двадцатого века, до сих пор актуальна и порою кажется неразрешимой даже в наше рыночное время. Но самое удивительное при этом – замечательная своей непреклонностью позиция самого Центра кольцевания: спасение утопающих без колец орнитологов – дело самих орнитологов, но кольца при этом должны нести гордую надпись “Moskwa” и все сведения о них должны немедленно передаваться в не менее гордый и всемогущий Центр (можно было бы хоть как-то понять эту позицию, если из этого всероссийского учреждения хотя бы иногда исходили научные публикации по анализу результатов кольцевания, выполненные на уровне, достойном современной орнитологии, но, увы, этого почему-то не происходит).

Валерий Гаврилов, чей супружеский союз с Инной Добрыниной (несколько неожиданный для окружающих вследствие возрастных расхождений) продолжался достаточно долго, чтобы не только произвести на свет, но и прекрасно воспитать для отечества еще одного биолога, генетически

обреченного стать орнитологом, появился впервые на Куршской косе в 1961 году, вскоре после окончания школы. Стройный молодой человек, вскоре прозванный нами Валерьяном (или Валерьяном Иннокентиевичем, хотя имя его отца - Михаил), поначалу даже слегка застенчивый (что сейчас кажется совершенно невероятным), знакомый с ленинградскими птицеловами и с Георгием Носковым, он не был новичком в нашем деле, но воспринимался нами как школьник, требующий опеки и покровительства. Тем более поразительно, что вместо опеки и заботы, его жизнь в первые же дни после приезда на косу мы подвергли серьезной опасности, впрочем, в той же степени, как и нашу с Дольником собственную жизнь.

История эта теперь рассказывается нами как «трое в лодке, не считая собаки», и это полностью соответствует действительности, с той лишь разницей, что лодку трепал пятибалльный шторм. Началось это с невинной ознакомительной поездки к литовским орнитологам в Вентес-Рагас, на другой берег Куршского залива, где наши коллеги уже в 1959 году установили такие же ловушки, нашего, Рыбачинского типа. Поездка туда на станционном катере «Кайра» и само пребывание оказалось не слишком интересным, и Дольник отказался оставаться там на весь день. Вместо этого мы с ним решили, захватив Гаврилова, отправиться назад в Рыбачий на моторной лодке, имевшейся на нашем катере. Последствия этого легкомысленного решения мы ощутили тогда, когда были уже на половине пути, в самой середине залива, который литовцы не зря называют «Куршю Марес», то есть Куршское море. Свежий ветерок, сопровождавший нас во время отплытия, неукротимо усиливался, пока наконец не превратился в настоящий штормовой ветрище. И именно тогда наш слабенький мотор, простуженно почихав напоследок, замолк навсегда. Наши яростные попытки его оживить не дали никакого результата, и нам пришлось сесть на весла. Однако вскоре стало совершенно ясно, что при такой волне и таком ветре не только наши, но и усилия настоящих гребцов не дали бы желаемого продвижения. К тому же, при очередном пересаживании лодка накренилась так, что Дольник оказался в воде, и, забравшись обратно в лодку, явно потерял какую-то часть своего негибавшего оптимизма. Его спаниель Мэй, подобно хозяину, несомненно приуныл и лишь тонко поскуливал. Трудно сказать, что испытывал в эти часы наш подопечный Валерьян, но лицо его не выражало в то время каких-то особых эмоций. Неожиданно появившееся на горизонте рыбацкое судно воскресило наши надежды на спасение, и мы стали неистово привлекать его внимание, что увенчалось успехом. Однако попытки взять нас на буксир такого успеха не имели – наша лодка зарывалась носом в волны и сразу же наполнялась водой. Подойти же вплотную к судну, чтобы забраться на него, было совершенно невозможно. В результате мы отвязали брошенный нам «конец» и дали отмашку – уходите, всё бесполезно. Рыбаки не стали особенно переживать и тут же стремительно удалились.

Оставшись опять одиноко беспомощными среди остервенело ревущей стихии, мы обреченно сложили весла и в прямом смысле слова отдались на волю волн. В постепенно сгущающейся темноте понять что-либо уже не представлялось возможным. Несмотря на вполне осознаваемую безнадежность ситуации, по-прежнему хотелось отправлять свои естественные надобности. Для нас это не составило особого труда, а вот для Мэя оказалось неразрешимой проблемой, он только тихо скулил, когда мы давали ему наглядный пример. Единственная случайная банка консервов,

оказавшаяся в лодке, остро усиливала ощущения голода, но вскрыть ее было нечем, да и есть в такой обстановке казалось чем-то запредельным.

Робкая надежда на спасение появилась в середине ночи, когда мы ощутили явное ослабление ветра. К утру уверенность в счастливом окончании одиссеи была уже неоспоримой – наша лодка медленно дрейфовала к уже ясно различимому берегу. Когда, наконец, нос лодки зарылся в прибрежный тростник, и мы, дрожа от холода и нервного перевозбуждения, выползли на берег, наибольшее облегчение от специфических страданий испытал наш шелковисто-черный товарищ: добравшись до столь желанной земли, он очень долго, жалостно подвывая, уже не поднимая ноги, изливал всё свое собачье несчастье. Первым человеком, встреченным на этом литовском берегу, оказался пастух немецкого происхождения, оставшийся здесь с довоенных времен. В полной и счастливой расслабленности отдохнувшие на его сеновале, мы вскоре были доставлены в долгожданный Рыбачий, где, оказывается, по стечению каких-то обстоятельств, никто и не хватился отсутствующих сотрудников.

Счастливо спасенный провидением Валерьян, проработав некоторое время на Биостанции, поступил на биофак не Ленинградского, как желал вначале, а находясь под естественным к тому времени влиянием Добрыниной, Московского университета. В этом же университете он получил и свое дальнейшее, после ухода с Биостанции, место под солнцем, где в конце концов защитил и докторскую диссертацию на свою излюбленную биоэнергетическую тему, приверженность к которой совершенно органичным образом образовалась после долгой совместной работы и жизни с Виктором Дольником. Это экспериментальное направление в орнитологии почему-то в моем представлении никак не вязалось с фанатическим стремлением к содержанию в собственной квартире не одной-трех птичек, а десятков самых разных птиц, однако именно таковы всегда был и Валерий Гаврилов с Инной Добрыниной, и их сын Вадим. Посещение тех квартир в Москве, где обитала эта орнитологическая династия, всегда поражало даже мое, с детства привыкшее к этому воображение: одна из трех комнат почти полностью была завешана клетками, в которых калейдоскопически искрились все цвета радуги, и откуда звучал неумолчный хор трещащих, цыкающих и переливчатых голосов ткачиков и других птиц. Неудивительно, что у Гавриловых были тесные связи со всеми московскими орнитологами, имеющими такие же интересы. Среди часто упоминаемых имен были и Станислав Кудрявцев, и Владимир Остапенко. Последний в мае 1979 года прибыл в Рыбачий с целым специальным транспортом – он привез нам пару лебедей из Московского зоопарка, а обратно, конечно же, увозил в Москву тщательно отобранных в ловушке птиц.

В самые первые годы работы на Куршской косе нам с Дольником довелось тесно общаться с москвичками Галиной Орловой и Ириной Учитель, впервые приехавшими в Рыбачий в 1960 году как студентки от, как они его называли, «деда» Евгения Птушенко из МГУ, и неоднократно приезжавшими и в последующие летние сезоны. Работали тогда у нас и другие москвички: очень независимо державшаяся Татьяна Кутырёва, долгими месяцами просидевшая и на ловушках, и в самом здании Биостанции в Рыбачьем, и молчаливая Ирина Гохблит со смущенными ямочками на щеках, тихо и спокойно работавшая на ловушках Двенадцатого. Галя Орлова, маленькая круглолицая

хохотушка с острым умом филологической направленности, поступившая почти сразу после окончания университета на работу в издательство «Наука», на долгие годы стала бессменным редактором почти всех орнитологических изданий этого издательства. Когда мы с Дольником привезли ей в 1975 году наш определитель пола и возраста птиц, то совершенно неожиданно услышали критические слова в адрес содержания недавних орнитологических книг. Оказывается, работая редактором издательства (при уже имевшемся научном редакторе каждой книги), Орлова считала для себя возможным оценивать работу не только по соответствию существующим издательским стандартам, но и по их научной сути. Возможно, в этом подсознательно проявилось желание хотя бы таким косвенным образом задействовать свои, полученные когда-то навыки профессионального орнитолога. Впоследствии, неоднократно общаясь с такими же редакторами в ленинградском отделении того же издательства, я никогда более не сталкивался с подобными попытками.

Марк Шумаков впервые приехал познакомиться с Куршской косой осенью 1962 года и работал с нами на ловушках. Его рассказ об особенностях его отъезда в октябре того года в Ленинград дает точную картину некоторых деталей нашей тогдашней развеселой жизни. В поезде было довольно жарко, и дохлая крыса, которую Дольник с трогательной заботливостью о качестве неотразимого розыгрыша закинул очень глубоко в рюкзак, естественно, протухла. Марк, разумеется, не знал ни о крысе, ни тем более о том, что она протухает. Когда до Ленинграда оставалось часа 4 езды, всё купе в составе молодой мамы с ребеночком и двух молодоженов весело уплетало свои запасы. Как раз в это время Марк и решил в очередной раз покормить птичек, которых он вез с собой. Достав рюкзак, он почувствовал какой-то странный запах. Все соседи, уже привыкшие к тому, что их попутчик извлекает из своих тюков что-то интересное, не переставая жевать, с любопытством на него уставились. Марк же, наткнувшись на какой-то мягкий сверток, решил вспомнить, что же это такое, и вынув его, стал разворачивать. На последнем этапе разворачивания из газеты что-то выскользнуло. Не успев осознать произошедшего, Марк инстинктивно дернулся и поймал на лету, как оказалось, кишку, на которой болталась окровавленная крыса, издававшая нестерпимую вонь. Трудно описать все вопли и общий шок, а также и состояние Марка, пытающегося что-то объяснить об особенностях невинных шуток зоологов.

Надо заметить, что обычно Дольник шутил «более тонко» – как правило, в уже упакованный багаж отъезжающего в удобный момент вкладывался тщательно завернутый и перевязанный красивой ленточкой кирпич. Диапазон форм и видов шуток и розыгрышей был довольно широк. Чаще всего в ходу были разные привидения, после слабого шороха и стука неожиданно возникающие и вновь исчезающие за окном (один студент, оказавшийся слишком нервным, вынужден был уехать после очередного такого сеанса). Апофеозом зрительного розыгрыша было чучело повешенного, которое, по замыслу, должно было напугать директора, предупрежденного заранее о каком-то несчастье. Остепенившись, Дольник не исчерпал своей внутренней тяги к розыгрышам, и долгое время на новогодних елках в Зоологическом институте исполнял роль Бабы-Яги с такой силой



Очередные ручные птицы Натальи Виноградовой и Марка Шумакова. На этот раз – два ворона.
Двенадцатый, 1976. Фото их же.

перевоплощения, что мамам приходилось спасать от чересчур динамичной Бабы со страшным кровавым лопающимся глазом своих особо впечатлительных детишек.

Поработав вместе с Натальей Виноградовой после университета в Карельском филиале Академии наук, Марк Шумаков, видимо, потянулся в другие места, поскольку уже в 1963 году они оба занимались у нас отловом птиц. Наталья в то время была в аспирантуре в Институте защиты растений, и на Двенадцатом вскоре развернула целую кухню в серии экспериментов по изучению особенностей предпочитаемых цветов и запахов у ворон, сорок и других врановых птиц. Со светло-рыжеватыми волосами, с правильными чертами лица скандинавского типа (и действительно имевшая шведские корни), с девической фигурой, сохранившейся почти до пенсионного возраста, почти всегда лишь внешне проявлявшая спокойствие Наталья, и порывистый, временами непредсказуемый Марк, с большой оттопыренной нижней губой, с фигурой и повадками хулиганистого и своевольного мальчишки, - они представляли собой органичную пару людей, у которых объекты профессиональных занятий одновременно были объектами особого страстного увлечения на уровне натуралистического хобби. Именно поэтому их союз, образовавшийся в студенческие годы, просуществовал до сегодняшних дней, несмотря на все явные и тщательно скрываемые от окружающих преграды. Начав свое студенчество на вечернем факультете, и перейдя на очное отделение во время прохождения летней практики, Наталья сразу же получила естественное прозвище «Рыжая вечерница» по названию самой популярной из изучаемых тогда летучих мышей. Не знаю, держали ли когда-нибудь Марк с Натальей у себя дома летучих мышей, но среди других групп животных, помимо, разумеется, собак (одной и той же породы - дратхаров), у них были такие необычные существа, как лемуры, а из птиц – пара ручных майн и пара ручных воронов, не говоря уже о многочисленных заурядных клеточных птицах. Выкармливание каких-либо птенцов не только для научных целей, но и просто «искусства ради» было почти постоянным занятием супругов. Представляется поэтому несколько удивительным, что их сын Александр, выросший среди всего этого экзотического зоопарка, не стал биологом. Впрочем, не стал биологом и сын Люлеевых Максим, проживший все детство на Биостанции.

Занимаясь наряду с нами отловом и кольцеванием птиц, Шумаков, тем не менее, своей научной темой считал только изучение ориентации и навигации птиц, и в первые годы действительно значительно преуспел на этом поприще, защитив кандидатскую диссертацию и долго продолжая копаться в этой тематике. Все мы являемся заложниками своего характера и своих пристрастий, но у Марка это проявлялось в наибольшей степени, и его постоянная тяга к возможности расслабиться при помощи стандартного поклонения Дионису (и на это время стать «совершенно неотразимым героем») приобрела со временем стойкий характер, что не только очень мешало ему самому и в работе, и просто в обычной жизни, но и даже в большей степени – окружающим, не говоря уже о собственной супруге. И всё же, когда в наши дни засилье наркоманов и гомосексуалистов становится чуть ли не фоном повседневности, наши обычные пьяницы и бабники кажутся теперь вполне нормальными и даже близкими, родными людьми.



Заготовка ловушечных столбов было регулярной работой Куршских орнитологов.
Двенадцатый, 1977. Фото Д. Люлевой.



Девиз администрации – все сделать своими руками! Зимняя заготовка бревен во главе с директором. Куршская коса, 1985. Фото М. Шумакова.



Крыльцо Биостанции – любимое место встреч. Игорь Селецкий, Валентина Дьяченко, Татьяна Ильина и Татьяна Дольник. Рыбачий, 1980. Фото автора.



Русской избе – немецкий камин. Марк Шумаков, Леонид Соколов и Владимир Паевский. Двенадцатый, 1984.

Ранней весной 1963 года на Биостанции неожиданно появился Роальд Потапов, в то время еще аспирант Леонида Портенко в Зоологическом институте, а уже через год оказавшийся нашим, хотя и кратковременным, но штатным сотрудником. Это был тогда жизнерадостный круглолицый молодой человек, веселый рассказчик утонченно-интеллектуальных анекдотов, обожающий выходить на любой полевой маршрут, и даже в наши куршские перелески, в оснащении чуть ли не первооткрывателей индийских джунглей, в длиннополой шляпе и с обязательным ятаганом, болтающимся на поясе. Однако долго на Куршской косе он не задержался, и вскоре навсегда перебрался в ЗИН, где с восьмидесятых годов стал после Доната Наумова заведующим нашим Зоологическим музеем, одним из самых крупных в мире. Кратковременность работы Потапова у нас в Рыбачьем, по-видимому, объяснялась тем, что после высокогорной и труднодоступной Памирской Биостанции, где он героически провел свои лучшие молодые годы, и после штормового озера Каракуль, где он впервые в нашей стране нашел гнезда буроголовых чаек, наша работа на Биостанции показалась ему обыденно-пресной. На память о его работе на косе осталась лишь статья о форме крыла птиц в зависимости от дальности миграций. В то же время о его прошлой работе в Таджикистане остались не только научные статьи, но и легко и увлекательно написанные популярные книги. Как и многие биологи, Потапов воспитал своих детей в соответствующем духе приверженности к походно-полевой жизни, что привело к увеличению орнитологической команды Питера сразу на две персоны – Ольгу и Евгения Потаповых.

Начиная с 1963 года, при ловушках на временной работе иногда подвизался и наш сокурсник Борис Панфилов, прозванный нами «Боб-Китобоб», поскольку, работая в калининградском АТЛАНТНИРО, он не один год провел на китобойной флотилии. А летом 1967 года на Двенадцатый приехал Герман Резвов, выходец из Лиепайи, недоучившийся студент Калининградского технического института. Сразу же прозванный Гераклом отнюдь не за внешность, а за героический подвиг полного очищения авгиевых конюшен нашего отхожего места, он проработал с нами на ловушках Двенадцатого почти три года, иногда оставаясь здесь же на всю зиму в роли сторожа. В одну из особо холодных и снежных зим, по его рассказам, он неделями не покидал своего ответственного поста, непрерывно подкидывая дрова в постоянно горящую печку и питаясь свежайшей зайчатиной, браконьерски добываемой тут же, возле самого дома. К сожалению, при последнем визите Геракла в Рыбачий, спустя несколько лет после ухода, он предстал перед нами совершенно опустившимся человеком, с явными признаками немотивированной агрессии и стойкого алкоголизма.

Свежая волна семидесятых

Семидесятые годы, вопреки укоренившемуся мнению о всеобщем застойном периоде в делах всей страны, для Биостанции ознаменовались постепенным изменением штатного состава, со

временем значительно обновившим всю работу сотрудников. Поначалу небольшой, но весьма мощный по напору ручеек орнитологов, проходивших студенческую практику или уже работавших в других местах, а в особенности – в Петергофском научно-исследовательском институте при Ленинградском университете, был весьма знаменателен, и говорил он в первую очередь о какой-то несомненной притягательности Биостанции в Рыбачьем. Притягательность эта проявлялась в первую очередь на примере орнитологов, ранее работавших или, по крайней мере, учившихся под общим руководством Георгия Носкова. Удивительное для меня постепенное и целенаправленное продвижение на Куршскую косу целой волны персон, таких как Леонид Соколов, Казимир Большаков, Александр Бардин, Владимир Федоров, Виктор Булюк и других, на протяжении семидесятых и восьмидесятых годов, неизбежно заставляло думать и о возможной, незримо для нас существовавшей конкуренции (все имена - только мужские), или о каких-то других особенностях работы при Ленинградском университете.

Летом 1969 года на Биостанции появилось сразу три новых сотрудника: Валентина Дьяченко, Владислав Ефремов и Михаил Яблонкевич. Все они только что закончили Биофак Ленинградского университета вместе с Еленой Бобковой (Паевской), которая уже ранее стала штатным сотрудником под влиянием автора этих строк. Осенью того же года все трое вместе со мной очутились в Таджикистане, в нашей очередной среднеазиатской экспедиции, где мы, конечно же, ловили птиц.

Целью этой экспедиции был не один десяток индийских воробьев – вида, ранее считавшегося только расой обыкновенного домового воробья, но именно этим родством и интересного, поскольку он, в противоположность обычному воробью, настоящий мигрант. Пункты нашей работы находились в каких-нибудь сорока километрах от афганской границы, в долине Вахша, реки с желтой от взвешенной глины водой (которую приходилось пить, как это делали и местные жители), недалеко от города Курган-Тюбе. Просыпаясь утром среди колючек и сухого ишачьего помета, не совсем выпавшиеся от истощенного и страстного ночного пения всех окрестных ишаков, мы занимались привычным делом на глазах многочисленных аборигенов. Однако контакты были возможны только с их детьми. Во время одного наиболее жаркого дня, когда мы в середине дня почти умирали от жажды, несколько мальчишек молча притащили нам шесть арбузов, на которые мы с жадностью и набросились. Впоследствии оказалось, что эти арбузы – кормовые для скота, но они были для нас просто спасением. Взрослые таджики (меня больше всего поражали женщины, укутанные в такую жару до предела во всякие халаты, юбки и штаны, да еще с марлей на голове) относились к нам настороженно. Однажды мы ощутили даже ненависть, когда на автобусной остановке молодой учитель, сопровождавший группу детей, посмотрев на Яблонкевича, красовавшегося в шортах, яростно заявил, что такая культура их народу не нужна, и все сказки о якобы культуре, идущей из Москвы, просто пропаганда для осквернения русскими исконных азиатских традиций.

В тот год, в отличие от всех последующих экспедиций, мы передвигались по нескончаемым азиатским просторам собственным ходом, на автобусах и попутках, перевозя не только свои объемистые походные пожитки, но и целые чемоданы, тайно оборудованные для перевозки живых птиц. Главная наша уловка при этом – делать совершенно невозмутимый вид и заинтересованно

смотреть в окно, когда попутчики, привлеченные птичьими криками, доносящимися из вполне обычных чемоданов, пытаются выяснить, что же происходит. К сожалению, в самолете такая уловка не действовала, и приходилось запастись соответствующими документами даже в те времена, когда еще не существовало строгого досмотра ручного багажа. Однажды, когда у меня не было такого документа, я поставил свою клетку, скромно завернутую в газетку (а тогда я перевозил зябликов и клестов) в проход под вешалкой для пальто, ранее существовавшей на самолетах, и спустя некоторое время с обреченной тоской услышал вопли стюардессы, вопрошающей, кто же хозяин клетки. Приготовившись к самому худшему, я повинился, и вдруг с неожиданным облегчением услышал: «Ну что же вы птичек в такую темноту поставили, давайте перенесем их к окошку!»

Из новых сотрудников лишь Владислав Ефремов, представлявшийся обычно при знакомстве Вадимом, навсегда осел на Двенадцатом. Немногословный, кажущийся даже человеком замкнутым, с обычно серьезным и невозмутимым выражением лица, он обладал, по мнению многих, тем характером, который называют тяжелым, и тяжесть эта состояла не только в неуступчивости и непримиримости к тому, что он считал неправильным, но и прежде всего в молчаливо-гнетущей форме выражения этих чувств. Только более близкое знакомство позволяло увидеть и по достоинству оценить те черты Вадима, благодаря которым именно с ним можно было «пойти в разведку». Безусловная надежность в критической обстановке – вот его основное качество. Его сокурсница и первая супруга Татьяна Ефремова (в девичестве тоже Смирнова, как и Татьяна Дольник), отличающаяся особо проявляемой говорливостью, очень общительным характером и необыкновенной памятью на все давние события (вот кому следовало бы писать мемуары!), сохранившая теплые дружеские отношения, несмотря на свою другую биологическую специальность, почти со всеми питерскими орнитологами, с большим сожалением после их развода перестала посещать уже привычную ей Куршскую косу. А вскоре среди нас появилась и вторая супруга Вадима, тоже Татьяна Ефремова, бывшая студентка Белопольского, нашедшая свое призвание в преподавательской деятельности в одной из ленинградских школ, но каждое лето с детьми посещавшая столь же желанную ей косу.

Ефремов первым на Биостанции начал компьютеризацию наших необъятных данных о пойманных птицах под определяющим влиянием своего бывшего однополчанина по армейской службе, физика Юрия Морозова, вскоре сделавшегося у нас вполне своим человеком. Долговязо-тощая фигура Морозова с черным загаром арабского типа и общей южной внешностью много лет маячила на наших приморских дюнах, а его быстрая невнятная речь с бесконечно повторяющимся «так сказать», описывающая какие-то совершенно невероятные с ним приключения, стала со временем постоянным фоном наших трапез в «слоновнике». В отличие от всех нас, он был из породы тех безруких интеллигентов, кто не может и не хочет даже гвоздь в стену забить, не говоря уже о каком-то строительстве. Придуманная Морозовым система управления базами данных, сначала под названием «Зоология-80», а потом и под скромным названием «Архимед», долгое время использовалась на Биостанции и принесла свои ощутимые первые плоды, пока другие специалисты, признавшие её не более, чем очередным изобретением велосипеда, убедили администрацию

пользоваться обычными и всеветно проверенными системами типа dBASE и ей подобными. Вопреки нашим ожиданиям, весьма активная и долголетняя работа Вадима по созданию базы данных так и не привела к написанию ни статей на собственную орнитологическую тему, ни диссертационной работы. Морозов же сумел на этой благодарной ниве, не подержав в руках за многие годы нашего общения ни одной птички, получить кандидатскую степень в своей физико-математической науке, используя названия птиц как некие абстрактные обозначения набора специфических признаков.

Как настоящий русский человек, Вадим не пропускает возможности заняться подледной рыбалкой, и однажды из-за этого чуть было не распрощался с жизнью. В ту давнюю весну Куршский залив был скован льдом еще и в апреле, но солнце сияло чуть ли не по-летнему, и настроение у нас было самым оптимистическим. В один из дней, когда на Двенадцатом мы были с Вадимом вдвоем, а в ловушках пусто, он пошел на рыбалку. По прошествии многих часов, когда смутная тревога всё же закралась в сердце и я собрался подняться на дюну, появился Вадим, в абсолютно промокшей одежде и необычно для себя взбудораженный. Таким взволнованным я видел его один-единственный раз: оказалось, что льдина, конечно же, раскололась в самый неподходящий момент, а очутившись в воде, он долго не мог выбраться – лед продолжал ломаться и ломаться под тяжестью тела. Как он, наконец, сумел доползти до берега, объяснить он и сам себе не мог. Почему-то Вадим попросил меня никому не рассказывать этот случай, и, сохраняя тайну, только через несколько лет я с удивлением узнал, что тайной это уже давно перестало быть.

Валентина Дьяченко, маленького роста и почти всегда с серьезным, часто озабоченным выражением лица, была, по-видимому, именно из той породы женщин, которую обычно называют «синим чулком». Несмотря на достаточно активную позицию, занимаемую ей абсолютно во всех делах нашего коллектива, она весь свой пыл и поначалу совершенно неистраченную женскую любовь направляла только на научную деятельность. Наука, и только та, которой она занималась (а это весьма сложная экспериментальная область изучения циркадных ритмов животных), определяла все ее помыслы, все желания, мечты и страсть. Об этом Валя могла говорить долго, убедительно, в том числе и на английском, и практически в любой обстановке. Обладая острым, цепким и казалось, очень прагматичным умом, она временами в обычных бытовых ситуациях проявляла нелепую наивность, доверчивость и забывчивость, часто попадая из-за этого в трудное или смешное положение. Она могла, например, лишиться на вокзале багажа, содержащего с огромным трудом полученные в экспедиции материалы, только потому, что открыто набирала номер автоматической камеры хранения на глазах привокзальной шпаны. Собираясь добыть для своих исследований каких-то птиц в тростниках на берегу залива и неожиданно увидев падающую к ногам подстреленную кем-то крякву, Валя схватила крякву и помчалась на Биостанцию, забыв и поэтому лишившись оставленного ею на земле ружья. Таких странных случаев в ее жизни было предостаточно. А уж Валина забывчивость при всяком приготовлении пищи, которое она всегда совмещала с другими, в том числе и научными занятиями, и часто в ночное время, повторялась настолько часто, что в нашем лексиконе появился термин «жареные кастрюльки». И лишь в некоторые моменты расслабления, при

довольно обычных коллективных посиделках за чашечкой кофе на Верхней кухне, Валя раскрывалась как обычный человек, со всеми ее чисто женскими проблемами и заботами. Однако постоянная и непомерная нагрузка на мозг, и почему-то обострившееся тревожное состояние при написании докторской диссертации привели к неожиданному трагическому концу. В декабре 1999 года мы внезапно потеряли одного из самых значительных и продуктивных ученых Биологической станции.

Михаил Яблонкевич, очень скоро получивший постоянно употребляемое прозвище Михасик, отличался явно холерическим темпераментом и ярко выраженной деловитостью и активностью во всех станционных делах, проявлявшихся иногда как простая суетливость. Небольшого роста, с ладно скроенной фигурой и молодежавшей выправкой, с постоянно проявляемым интересом ко всяким мелким бытовым деталям, он чем-то внешне был более похож на выходца с Кавказа, нежели на потомка людей с территории древней Палестины. Начав лабораторные исследования регуляции веса тела и роли липидов в разных сезонных состояниях птиц, Михасик настолько целеустремленно стал перетаскивать в свою лабораторию всё, что могло бы иметь хоть отдаленное отношение к биохимии, что с изумлением узревший такую активность Виктор Дольник тут же и поручил ему заниматься снабжением научного оборудования для всей Биостанции. Оказалось, что эта хлопотливая деятельность не только вполне ему по плечу, но и доставляет явное удовлетворение. Впоследствии он участвовал, наряду с Валентином Люлеевым, в решении многих административно-хозяйственных проблем, а говоря проще, был хорошим «доставалой», то есть снабженцем. Кроме своей сугубо лабораторной работы, Михасик с легкостью жил и работал на Двенадцатом, когда в течение нескольких лет участие в отлове и кольцевании птиц в периоды миграций стало вменяться в обязанность почти всем сотрудникам, ранее этим не занимавшимся. Вспоминая участие неугомонного Яблонкевича в наших среднеазиатских экспедициях, я в одном из своих стихотворных описаний этого периода нашей жизни отметил наиболее характерные черты его поведения, которые во многом облегчали нашу полевую походную жизнь: «С Михасиком там все знакомы – Михасик вхож во все райкомы, где часто поминая ЗИН, бесплатно получал бензин». Торжественно расстались мы с Михасиком весной 1992 года, когда он навсегда покинул не только нашу Биостанцию, но и нашу страну, предпочтя ей миражное счастье на западном побережье США.

Первые бывшие «гумбарицкие жители» появились у нас весной 1973 года, это были Сергей Ильин, Валерий Силецкий и Виктор Хохлов. Безусловно, что та же самая деятельность, а самое главное – тот же образ жизни, объясняет их очень быстрое вхождение в наш коллектив, где они не только надолго прижились, но и быстро раскрутив «служебные романы», вскоре охотно связали себя узами Гименея со свободными в этом отношении сотрудницами Биостанции. Новые супружеские пары орнитологов Ильин - Прокудина (Ильина) и Хохлов - Дьяченко просуществовали достаточно времени для того, чтобы дать миру новых потенциальных биологинь, хотя бы только по их воспитанию в раннем детстве. Трое этих мужчин «гумбарицкого происхождения», более всего ценя свою свободу и свой полевой образ жизни, не очень рвались не только в настоящую науку, но даже в университеты, и из них только Силецкий стал дипломированным биологом. На первый взгляд, все

они были достаточно активны, деятельны и говорливы: и склонный пофилософствовать на бытовом уровне Хохлов, и почему-то всегда кажущийся растрепанным и неопрятным Силецкий (со своей боевой подругой, любительницей всякой клубнички Ириной Зызо), и даже в ватнике выглядящий интеллигентом Ильин. Последний, обладавший мнительным характером, тщательно скрываемым под маской веселого остроумца, имел и удивительное портретное сходство с таким же по характеру последним русским царем. Это однажды так изумило какого-то грибника почтенного возраста, что он, всматриваясь в Сергея, долго качал головой и приговаривал: «Боже мой, боже мой... Ведь так похож, так похож!..»

Как и многие не вполне уверенные в себе люди, Сергей Ильин держал очень крупную немецкую овчарку, кобеля по кличке «Шама», самого жесткого и непредсказуемого характера, который временами мог неожиданно прихватить и своих же благодетелей. Когда однажды Виктор Дольник в сопровождении тогдашней обязательной директорской свиты в лице Леонида Соколова и Михаила Яблонкевича в очередной раз посетил Двенадцатый, одно неосторожное движение чуть было не стоило ему тяжких телесных повреждений в интимных местах, однако на его защиту самоотверженно бросился Михасик, который и ощутил в полной мере остроту зубов и мощь собачьей пасти. С тех пор во всех воскресных прогулках на Двенадцатый директор появлялся в сопровождении верного телохранителя, пока их отношения не приобрели совсем иной характер, о чем будет упомянуто в другом разделе.

Леонид Соколов, почему-то всеми и всегда называемый Лёничка, прежде чем перейти из Биологического института ленинградского университета на Биостанцию, долго проводил рекогносцировку путем тщательного опроса рыбачинцев об условиях их жизни и работы. Его первое, еще студенческое знакомство с Рыбачьим состоялось в январе 1969 года, но зимнее время вряд ли могло дать столь осмотрительному юноше полное представление об условиях работы в летний сезон. Лёничка, с худощавым лицом русского северного типа, с рыжеватыми волосами и такой же, иногда сбываемой, бородкой, появился у нас в качестве штатного сотрудника в мае 1973 года. Его худая, а лучше сказать, на удивление тощая фигура явно астенического телосложения в первые месяцы и даже годы примелькалась в основном в пределах Рыбачьего. На Двенадцатом Лёничка тогда появлялся редко, обычно в сопровождении директора и Михасика. С последним он сошелся быстро и навсегда, деля с ним всё рыбачинское времяпрепровождение, включая неспешную работу в гулких и прохладных лабораториях, постоянные поездки в Литву за обычными, но в то время дефицитными в России продуктами, и ежевечерние чайные посиделки с тщательным обсуждением новостей о собственной стране, только что услышанных по разным вражеским радиоголосам.

Общий интерес к механизмам ориентации птиц, явно проявляемый Соколовым в те годы, постепенно перерос в узко специализированную страсть к изучению любви к родине, то есть филопатрии, значительно подогретую анализом данных кольцевания на Биостанции. Публичное обсуждение научных проблем за обеденным столом, среди жующих, чавкающих и прихлебывающих сотрудников, а в особенности гостей, было тогда одним из характернейших признаков Биостанции, и Лёничка по этому качеству явно пришелся ко двору. И до настоящего времени своим четким,

размеренным, внушающим доверие и уважение голосом, он обычно громко вещает о своем понимании насущных проблем и немедленных путях их решения. Происходит это обычно на Двенадцатом, где Соколов надолго и основательно осел на все летние сезоны. Он не в силах тут же не обнародовать что-либо, особо его заинтересовавшее. Это касается в равной степени и научных вопросов, и всяких жизненных рецептов, в изобилии звучащих теперь со всех каналов и программ. В особенности Лёнечку волнуют все советы по сохранению здоровья и достижения долголетия. Несмотря на постоянно меняющиеся рекомендации, он всякий раз не только начинает их неукоснительно выполнять, издеваясь над своим вконец изнуренным телом, но и проводит активную агитацию в их защиту (по-видимому, он достиг бы больших высот, работая рекламным агентом). В научной области он с недавних пор прочно оседлал погодную тематику, и со свойственной ему аккуратностью и настойчиво проявляемой увлеченностью объясняет (и довольно аргументированно) абсолютно все явления годового жизненного цикла птиц исключительно температурным фактором. Это не очень нравится Виктору Дольнику, склонному с молодых лет объяснять жизненные явления четкой реализацией всяких эндогенных программ, а поэтому с большим скепсисом воспринимающим всё новые и новые статьи Соколова на эту тему, часто написанными с многочисленными соавторами.

Лишь двое наших новых сотрудников, самостийно появившиеся в семидесятые годы, были не из Ленинградского университета – Татьяна Прокудина (Ильина) и Анатолий Шаповал. Таня Прокудина впервые посетила нас с ознакомительными целями в сентябре 1971 года, когда была еще студенткой 3 курса Биофака Московского университета. Её ярко выраженная заинтересованность научными проблемами и достаточно деловой характер их обсуждения, а также активность, проявленная при работе на ловушках, привели к тому, что уже в 1973 году она была принята в наш штат.

Основные научные интересы Ильиной касались поведения птиц и их бюджетов времени и энергии, и интересы эти были полностью в русле проводимых Дольником работ. Тогда стало очень модным оценивать поток энергии, комбинируя затраты времени на разное поведение птиц, полученные путем простого наблюдения в природе, с энергетической ценой птичьей деятельности, измеренной в лаборатории. И вот Таня развернула бурную деятельность на Двенадцатом по ежеминутной регистрации всех жизненных отправок наших придворно гнездящихся зябликов, помеченных как обычными алюминиевыми, так и цветными кольцами. В течение целого сезона все мы, вслед за Ильиной, оживленно обсуждали каждое движение «желто-алюминиевых» и «алюминиево-оранжевых» птиц. С такой же страстью и широкой рекламой Татьяна изучала интимную жизнь пеночек-весничек. Ей удалось не только обнаружить случаи неожиданной для этих мелких пичужек многолетней супружеской верности, но также и вывести на чистую воду нескольких самцов-многоженцев.

Вхождение Прокудиной-Ильиной в коллектив прошло практически мгновенно: её всегда дружелюбное лицо с тонкими губами и заостренным носом, её решительные жесты и хорошо обкатанные орнитоморфические фразы, произносимые громким голосом («почистим перышки», «тут и угнездимся», «хорошо бы поклевать») вполне соответствовали нашему ироническому полемому настрою. Очень запоминающимися были и несколько угловатые движения ее худощавой фигуры,



Один из редких моментов, когда в день массового отлова руки отдыхают от птиц.
Леонид Соколов, Михаил Яблонкевич и Казимир Большаков. Двенадцатый, 1986.
Фото автора.



Летние трапезы на Двенадцатом во время сухого горбачевского закона.
Татьяна Дольник, Елена Шаповал, Владимир Паевский, Александр
Шумаков. 1987.



Анатолий Шаповал. Двенадцатый, 1986. Фото автора.



Александр Бардин. Двенадцатый, 1986. Фото автора.

обычно облаченной в свободный свитер. Таня могла, при обращении к ней, на манер робота внезапно застыть в той позе, в какой находилась в это время – с поднятой рукой или ногой, и продолжала разговаривать, не меняя позы. И на Двенадцатом, и в Рыбачьем она чувствовала себя, как дома, и покинуть Биостанцию, вернувшись в Москву, ей пришлось лишь после развода с Сергеем Ильиным.

Анатолий Шаповал тоже впервые приехал на Двенадцатый студентом, в мае 1975 года, когда был на 4 курсе Львовского университета. По-видимому, ни тянувшаяся к самостийности Украина, ни родные, воспетые Гоголем места на Полтавщине, не притягивали Шаповала так, как бывшая Восточная Пруссия, поскольку он вернулся к нам и осенью того же года, и весной следующего, чтобы на всю жизнь навсегда осесть именно на Двенадцатом. Его фанатическая любовь к птицам, а особенно в виде их коллекционных тушек, изготовление которых было чуть ли не ежедневным священнодействием, заставляла его просиживать возле ловушек практически целые дни, чтобы не дай бог, не пропустить что-либо интересное и необычное. В какой-то степени это озаботило нашу администрацию – коллекционер не должен, по определению, работать среди потенциальных объектов своей коллекции. Однако безотказность Шаповала во всех видах полевых работ и его готовность ставить ловушки и сидеть при них в любое время года настолько была удобна администрации, что о маленькой и единственной слабости нового сотрудника можно было и забыть. Когда-то, представляя меня приезжим, Виктор Дольник говорил: «знакомьтесь, это человек, окольцевавший больше всех птиц в мире». Теперь же это можно сказать о многих сотрудниках Биостанции, и, прежде всего, о Шаповале.

Помимо тушек птиц, он иногда коллекционировал всё, что поддавалось собиранию и систематизации: бабочек, жуков, бутылочки, всякие этикетки, марки и прочее. Кое-как одетый то в видавший виды ватник, то в где-то случайно найденную гимнастерку, с нечесаной копной черных волос, рано начавших сесть, и временами с бородой нерегламентированного роста, Анатолий, часто окликаемый лишь по своему отчеству Петровичем, сразу же стал неотъемлемой и естественной частью всего Двенадцатого. Обладая, по контрасту со своим полевым видом, почти каллиграфическим почерком, аккуратностью и склонностью все записывать и переписывать до полного изнеможения своих чересчур насилуемых пальцев, он со временем скопировал даже многие журналы кольцевания, не говоря уж о сводках отлова и картотеках возвратов колец. При такой прыти Шаповал вскоре, естественно, стал ответственным за всю переписку с Центром кольцевания и поддержание в порядке всех картотек возвратов колец (при этом, конечно, обнаружились и самые невероятные ошибки, сделанные его предшественниками, не обладавшими столь ярко выраженной любовью к бумажной работе). Научные интересы Шаповала, подстать его разнообразным коллекциям, столь же разные, а потому и его многочисленные статьи посвящены почти всем орнитологическим темам, а одна посвящена даже бабочкам. Удивительно, что до Шаповала с сыном никто и не пытался изучить всё разнообразие огромного числа чешуекрылых, попадающих в наши ловушки (а ведь их перелеты, и временами чрезвычайно массовые, можно изучать совершенно так же, как и у птиц).

Однажды тихим сентябрем 1978 года, когда на Двенадцатом появилась приехавшая из ЗИН'а орнитолог Леночка Орлова, мы всячески стали намекать Шаповалу на необходимость обратить на нее особое внимание, на что он тут же бодро заявил, что, мол, обойдусь и без подсказок, и тут же повел Леночку на «вторую» ловушку, находившуюся дальше всего от нашего дома. Им было тогда по 25 лет, и вскоре Леночка во второй раз сменила фамилию, сделав еще одну попытку найти спутника жизни среди подразделений родного института. Общительная и хлопотливая, за чьей быстрой речью иногда бывает трудно угнаться, Елена Шаповал уже более 20 лет следит за всем хозяйством отделения орнитологии, находясь в приятельских отношениях почти со всеми сотрудниками нашего института. Сын супругов Шаповал, носящий звучное восточное имя Назар, был воспитан в натуралистическом духе, и уже сейчас почти на профессиональном уровне интересуется чешуекрылыми.

Казимир Большаков к моменту своего перехода на Биостанцию в 1976 году уже написал кандидатскую диссертацию на тему о ночных миграциях птиц, в которой он был единственным на то время специалистом во всем СССР, и защитил ее в начале следующего года. Этот раздел нашей науки (а докторская диссертация Большакова была тоже на эту тему) требовал особых жертв по смене естественного для человека суточного ритма, и бессонные ночи, а также и необходимость спать днем под непрекращающиеся и часто невыносимо громкие шумы, сопровождающие жизнь «нормальных» коллег, значительно осложняли всю жизнь Казимира, не всегда давая возможность сохранять душевное спокойствие. Большаков проявлял постоянную ночную активность и в Ленинградской области, и на Куршской косе, и на всех бесконечных азиатских просторах, среди всяких пустынь, оазисов, саксаулов, тамарисков, гор, долин и прочих прелестей советской Средней Азии и Казахстана. Иногда, в некоторых наших экспедициях, ему помогали и другие сотрудники, в том числе и из азиатских институтов, которых Казимир после долгого обучения научил смотреть в телескоп и узнавать птиц в быстро мелькающих точках. В августе 1981 года, когда мне посчастливилось участвовать в Памирской экспедиции, Большакова с нами не было, но на Токтогуле и в Сусамырской и Алайской долинах телескопом усердно сбивали свои лбы и Дина Люлеева, и Евгений Попов, верный ученик Казимира из Киргизии.

Несмотря на свое ярко выраженное хобби прогрессивно мыслящего оптимиста-огородника, Казимир был обычно очень серьезен и временами даже мрачен. С недоверчивым взглядом и гулким баритоном, он часто ходил небритым, естественно объясняя такой свой вид нехваткой времени в связи с особой ночной работой, но этим значительно усиливая свой неотразимый имидж настоящего мужчины. Свою хорошо слепленную природой фигуру, которую можно увидеть лишь на пляже или в так любимой им парилке, он всегда тщательно прятал под самой обычной непрезентабельной одеждой. Тихо, но иступленно работая по ночам в Рыбачьем, а временами разделяя с нами птичью путину на Двенадцатом, Казимир почти всегда выглядел чем-то недовольным, обремененным какими-то своими, неизвестными нам проблемами. Лишь субботние бани и следуемые за ними посиделки в «слоновнике» могли оживить трагическое выражение его постоянно хмурого лица. Значительные изменения его настроения произошли, начиная с 1992 года. После обретения

директорского поста и постепенного упрочения своих позиций взгляд Большакова стал временами более приветливым, улыбка – более частой, а шутки – более жизнерадостными.

Пытаясь охватить своим вниманием абсолютно все дела на Биостанции, Казимир стал постоянно носить с собой большой блокнот (как знаменитый Домарощинер, эффектный персонаж братьев Стругацких), записывая подряд все подлежащие запоминанию необходимые дела и делишки, и с тех пор сменил не один блокнот. Когда дело касалось особых взаимоотношений с людьми, он обычно назидательно повторял: «Здесь надо всё сделать очень аккуратно! Такова моя позиция!» Однако его подчиненные вскоре заметили, что позднейшие напластования записей в блокнотах иногда полностью погребают под собой актуальные заметки ранних времен, без всяких надежд на воскрешение последних.

Одна из наиболее ярких инициатив Большакова и одновременно наиболее весомое применение спонсорских средств стало для Биостанции издание собственного орнитологического журнала, о котором раньше можно было только мечтать. Журнал *Avian Ecology and Behaviour*, издаваемый на английском языке, качество которого контролируется английскими орнитологами, рассчитан на постсоветского автора и на мирового читателя. Однако последняя так называемая международная орнитологическая конференция в Казани, участниками которой были как раз орнитологи со всего постсоветского пространства, показала, что меня и Казимира, как редакторов журнала, может ожидать чрезвычайно тягучая неблагодарная работа, а, возможно, и вынужденный отказ принятия статей – тематика и качество большинства опубликованных тезисов казанской конференции очень далеки от основного содержания любого крупного мирового журнала по орнитологии. Россия опять идет своим особенным путем, даже в орнитологии. Поразительно, что попадая на запад, некоторые российские биологи мгновенно вписываются и в тематику, и в качество работы, и часто занимают там лидирующие позиции.

Рецентная штатная сукцессия

С момента рукотворного воскрешения орнитологической активности на Куршской косе до восьмидесятых годов прошло четверть века. Всё так же неодолимо дули неистовые западные ветры, всё так же незаметно перевевались тонны песка на необъятных голых телах желто-серых дюн, всё так же бездумно и целеустремленно двигались в небе бесконечные мириады мигрирующих птиц...

В переломные для советской империи восьмидесятые и девяностые годы в жизни нашей маленькой и гордой Биостанции происходили постепенные, но весьма значительные изменения, что, с одной стороны, объяснялось коренными политическими трансформациями всей страны, а с другой стороны, было связано со сменой, подчас драматической, директорской власти. Однако появление новых штатных сотрудников, как и исчезновение старых, проходило теми же неспешными, но для нас вполне ощутимыми темпами, что и раньше.

Продолжая традицию неуклонно следующих друг за другом перебежек ленинградских орнитологов мужского пола из Петергофского института питерского университета на Рыбачинскую Биостанцию, на косе весной 1980 года появился всегда радостно-оживленный, с не сходящей при любых встречах улыбкой Александр Бардин. Выпускник специальной биологической школы и один из наиболее одаренных выпускников Биофака питерского университета, он обладал широкими познаниями не только в биологии, а главное, был способен к постоянному самообразованию. Жизнь на Биостанции, как он сам признавался, полностью подходила его натуре, а особенно – полная свобода самовыражения и всегда имевшаяся возможность устроить себе очередной маленький праздник в теплой компании коллег. Скованный в своей молодости всяческими ограничениями и условностями, он наконец-то в полной мере ощутил полнокровность собственной жизни. Имея на все случаи жизни и науки собственный, иногда очень своеобразный взгляд, Бардин временами проявлял себя весьма экстравагантно. Именно это часто вызывало явно скептическое отношение некоторых коллег, а особенно Виктора Дольника, к его персоне (хотя, возможно, Дольник видел в Бардине некий доведенный до крайности образ своей, тоже весьма экстравагантной молодости).

Занимаясь популяционными исследованиями птиц на примере излюбленных им синиц, любознательный Александр Бардин исколесил на своем спортивном велосипеде всю косу, проделывая иногда в день по несколько десятков километров. Его тогда еще очень крепкая фигура мелькала и в пределах самого Рыбачьего, и на Двенадцатом, и практически в любой точке косы. Довольно часто он путешествовал на велосипеде вместе с маленьким, но сильным по характеру сыном по прозвищу Сан-Саныч, который однажды, купаясь с отцом в море далеко от берега, так сжал отцовскую шею, что они едва выплыли. Вечерами же Бардин, облаченный в черную рубашку и светлые брюки, сновал по зданию Биостанции, и часто в роли обязательного «пастушка» пребывал на кофейных посиделках на Верхней кухне с двумя «Танечками и Валечкой» (Ильиной, Дольник и Дьяченко). Выбранный в 1989 году новым директором и пробыв в этой должности три года, Бардин никак не изменил своего поведения, продолжая быть одновременно и радостно-приветливым, и экстравагантно-неожиданным, и постоянно жаждущим праздника. Для утоления этой жажды он часто обращался к хранителю особой жидкости (как мы говорили, для протирки рук после работы с птицами) Дмитрию Михайлову, молодому и очень недолго работавшему у нас сотруднику.

Сменив драматическим образом свою должность (подробнее об этом смотри в другом разделе), Бардин решительно сменил и место работы, перейдя обратно в Университет, что, на мой взгляд, ничуть не умалило, а, возможно, и укрепило его имидж. Этому также в огромной степени способствовала и его эффектная инициатива по выпуску нового «Русского орнитологического журнала». К сожалению, столь обычные теперь финансовые трудности не дают возможности в последние годы издавать его в настоящем журнальном виде, и он выходит в виде нескончаемой россыпи отдельных экспресс-выпусков, похожих просто на оттиски.

Один из любимых студентов Александра Бардина, Михаил Марковец (недавно сильно огорчивший его тем, что за чем-то по собственной инициативе обозначил в рукописи диссертации своим номинальным руководителем Леонида Соколова), после трех полевых сезонов на Куршской



Традиционное фотографирование с пойманными птицами на Двенадцатом: Дина Люлеева с мохноногим сычом, 1968; Михаил Марковец с осоедом, 1987; Евгений Карев и автор с осоедами, 1980.



Куршская коса – не край непуганых кабанов, но на Двенадцатом возможно все. С кабаном-антропофилом общаются Сергей Ильин, Леонид Соколов, Владимир Паевский, Валерий Силецкий и Наталья Виноградова. 1977. Фото Д. Люлевой.



Перед очередной осенней поездкой из Рыбачьего в Ленинград. Виктор Дольник, Казимир Большаков, Михаил Яблонкевич и Анатолий Шаповал. 1978. Фото М. Шумакова.



На Двенадцатом в 1996 г.: Михаил Марковец с полевым луном,
Дина Люлеева и Марк Шумаков с горлицей, и автор с ушастыми совами.

косе, начатых в мае 1985 года, когда он в русле интересов своего шефа исследовал интимную жизнь оседлых видов синиц, так привязался к радостям полевой жизни на косе, что с августа 1988 года стал одним из основных сотрудников на Двенадцатом. Его полная и крепкая фигура с плакатно-классическим лицом пригожего русского «красна молодца» (в духе картин Ильи Глазунова) импонировала почти всем, и сотрудникам, и местным жителям, а особенно жительницам, и многочисленным заезжим визитерам. Когда же Марковец наголо сбрасывал волосы, он сразу же становился практически неотличимым от привычного нам теперь образа бандитских молодых людей, составляющих костяк и современных охранных структур, и тех лиц, от которых эти структуры и должны защищать. Активность, общительность и деловитость в хозяйственно-финансовой сфере, несмотря на абсолютную неаккуратность в собственном жилище, сделали Мишу Марковца наиболее удобной персоной для организации сложного процесса жизни на Двенадцатом, включая вопросы питания, найма поварих и непростых, но очень важных для сотрудников взаимоотношений с туристами и их гидами. Некоторую его склонность к всегда неожиданно проявляемой вспыльчивости по любой причине, от мелкой бытовой возни до политических симпатий, сотрудники научились легко гасить. Самые характерные черты Миши – удивительная память на все исторические события и даты и абсолютная всеядность в чтении: Марковец читает всегда и всюду и практически всё – от утонченной философии до примитивнейших образцов детектива и фантастики. Его в целом правильная речь с еле заметными признаками проступающего при возбуждении заикания настолько изобилует двумя необычными словесными паразитами – «как бы» и «проблема в том», что фраза «Я родился в Ленинграде» в его устах может прозвучать как «Проблема в том, что я как бы родился как бы в Ленинграде».

В течение почти 13 лет, начиная с 1983 года, вместе с Лёней Соколовым и Александром Бардиным, на Двенадцатом работал по всем дупляночным мухоловково-синичьим делам и Вадим Высоцкий, сотрудник Зоологического музея нашего института, личность эффектная и далеко не однозначная. Внешность Высоцкого относится к той категории людских образов, когда человек выглядит «утонченным» интеллигентом вне зависимости от того, одет ли он в нищенское рубище или же в английский смокинг. Этот внешний образ не мешал ему быть хорошим охотником и, при необходимости, настоящим полевиком в любых походных условиях. Оценив по достоинству на одном из совещаний необычайно положительные особенности его головы в решении проблем, связанных со всем комплексом статистических приемов, а особенно – при оценке демографических параметров, я пригласил Вадима, наряду с нашими кольцевателями, участвовать в работе по одному из Соровских грантов, что было, как оказалось, оптимальным решением. Более того, Высоцкий обнаружил такую крайнюю степень тщательности в работе, которую я встречал, из знакомых орнитологов, еще только у одного – Владимира Лоскота. Наряду с этим благоухающим букетом замечательных качеств, у описываемой персоны в этом букете оказались и такие колючие сорняки, из-за которых некоторые коллеги считают его зазнавшимся снобом, а другие – чуть ли не человеконенавистником. Такие колючие свойства, к сожалению, проистекают из часто

встречающейся у людей невозможности объективно разделять научные и личные отношения. У таких персон разногласие в научных подходах тут же сказывается на личных отношениях (что ещё как-то можно понять), а конфликты на личной почве тут же отзываются на оценке научного потенциала оппонента (что вообще аморально).

Владимир Федоров, давний соратник Александра Бардина и один из известных орнитологов Петергофского института, перешел к нам на работу в конце 1992 года, почти в момент прекращения Бардиным функций директора станции. С остатками прически, свидетельствующими о его уже далеко не первой молодости, с широкими общественными и спортивными интересами, он был узким специалистом по камышевкам. Излазивший все тростниковые заросли в Ленинградской и Псковской областях, Федоров, по приезде в Рыбачий весной 1993 года, привычно натянув до пояса высокие болотные сапоги, с воодушевлением окунулся в непроходимые джунгли качающихся, немолчно шуршащих стволов, с терпким запахом стоячей воды и с резкими голосами вожделенных объектов изучения, мелькающих в зарослях. Общественная активность Федорова, поначалу ограниченная лишь пределами Биостанции, и чем-то напоминавшая мне поведение Михасика, сразу же нашла отклик в душе нового директора, сделавшего его практически заместителем по общим вопросам. С хорошим аппетитом, заставляющим вспомнить поговорку «зоолог ест много, но часто», Владимир Федоров за обеденным столом предавался сразу двум любимым занятиям – радостному поглощению пищи и рассказам о веселых моментах своей прежней жизни. Своим звучным голосом, с особыми задержками в речи, заставляющими слушателей усиливать внимание, он задушевно вспоминал дни своей армейской службы, оставившими, по-видимому, неизгладимый след в сердце, с подробным изложением всех высказываний сержантов, которые, как ему показалось, не отличались умом и интеллигентностью.

Виктор Булюк, один из верных последователей университетских орнитологов в приверженности к проблемам миграций птиц, особенно ночных, после окончания университета на некоторое время осел в заповеднике «Лес на Ворскле», приобретая ценный опыт общения с питерскими студентами, проходящими там полевую практику, и на Куршской косе начал работать в нашем штате лишь с 1994 года. Однако еще будучи студентом, Виктор уже приезжал на косу и в 1977 году участвовал в нашей эпохальной программе «Эксперимент», призванной, по мнению инициаторов, раз и навсегда покончить с вопросом субъективности оценок и количественно определить эффективность разных методов учета дневных и ночных миграций птиц. Пребывая в разнообразных экспедициях в разных местах страны, он проводил визуальные наблюдения за миграциями птиц и на Ладожском стационаре «Гумбарицы», а потом, будучи аспирантом у Виктора Дольника, и на станции Репетек в пустыне Каракум, и в Красноводском заливе, и в окрестностях Ашхабада. Немногословный и всегда серьезный (а при некотором подобии улыбки - с опущенными вниз глазами), с несколько аскетическим интеллигентным лицом, Виктор Булюк очень редко проявляет свои эмоции, даже в тех случаях, когда другой бы на его месте разразился бы мгновенной и резкой отповедью на якобы шуточные замечания в его адрес.



Послебанные посиделки в «слоновнике» на Двенадцатом, 1996. Владислав и Татьяна Ефремовы,
Виталий и Владимир Паевские и Казимир Большаков.



Посиделки с бывшими сотрудниками в дни сорокалетия Биостанции на незабвенной «верхней кухне» в Рыбачьем. Николай Титов, Александра Синельщикова, Леонид Соколов, Валерий Гаврилов, Татьяна Дольник, Татьяна Ильина, Валентина Дьяченко, Инна Добрынина и Дина Люлеева.

1996, фото автора.

Последние годы в штате Биостанции появлялись сотрудники, очень разные по характеру, склонностям, возрасту и опыту, от трагически погибшего молодого и слишком глубоко уходящего в свои переживания Алексея Погорелова до приехавшего из Алма-Атинского Института зоологии и осевшего в Калининграде уверенного в себе, прошедшего долгую и суровую жизненную школу Анатолия Семы. Среди всей команды нынешних молодых (и уже не очень молодых) сотрудников, прочно осевших в Рыбачьем, мне приходилось в наибольшей степени общаться лишь с Надеждой Зеленовой и Никитой Чернецовым, тогда как мимолетные встречи с Николаем Титовым, Владиславом Косаревым, Андреем Мухиным, Андраником Манукяном, Александрой Синельщиковой и Арсением Цвеем не дают мне возможности поведать здесь что-либо о тех особенностях этих персон, которые могли бы составить предмет мемуарного описания.

Надежда Зеленова стала приезжать на Двенадцатый еще в середине восьмидесятых годов, когда была студенткой Калининградского университета. Эту черноволосую полную девушку с внимательным взглядом и приглушенным, при разговоре с начальством, голосом, ставшую впоследствии «притчей во языцех», помимо общего интереса к биологии и к орнитологии, весьма занимали и все проблемы пространственной ориентации животных, а поэтому дипломную свою работу она писала под руководством Марка Шумакова. Постоянно общаясь с нами и во время кольцевания птиц, Зеленова обнаружила редко встречающуюся у студентов способность вести быструю запись в регистрационный журнал под одновременную диктовку нескольких сотрудников, занятых обследованием птиц в пиковые дни нашей миграционной путины. Эти, а также и другие весьма положительные в нашей деятельности качества послужили основой для разговоров о крайне желанной для нее возможности зачисления в наш штат. Однако на этом, как оказалось, очень долгом пути обнаружилось огромное количество всяких преград, от обычных административно-объективных до сугубо субъективных. Преграды же Надя научилась брать не штурмом, а долгой, изматывающей противника осадой. Поработав учителем где-то в затерянной деревеньке Калининградской области, Зеленова бодро перевелась в школу другой деревни – Рыбачьего, где желанная цель была уже в двух шагах. Учительствуя в Рыбачинской школе, Надежда одновременно, часто совершенно бескорыстно, искусства ради, работала с нами, пока, наконец, мечта стать сотрудником знаменитого учреждения не осуществилась.

Обладая и особыми способностями, и, прежде всего, настойчивостью в достижении цели, Зеленова смогла быстро овладеть разговорным немецким и английским, приблизившись по этим признакам к нашему самородку Никите Чернецову, поскольку инвазионные волны туристов, и прежде всего ностальгических немецких патриотов, к этому времени уже почти захлестывали нашу беззащитную Биостанцию, русскоязычную наследницу великих германских традиций. Находясь в основном на технической, хотя и научной работе, и имея особо выраженную приверженность к компьютерному охвату огромных и самых разнообразных объемов информации, Зеленова может одновременно и восхитить, и огорчить начальство, поскольку ошибки и недоразумения в таких случаях почти неизбежны. Научные устремления Надежды претерпели несколько модификаций, а

некоторая удаленность в этом и других планах от остальных членов коллектива привели к попыткам опереться на помощь людей весьма авторитетных, находящихся далеко за пределами родных учреждений, от московского профессора Николая Реймерса до польского Пшемислава Буссе. По-видимому, именно альянс с поляками, несмотря на глухо-пассивное противодействие коллег, сейчас видится Зеленовой достойным продолжением раз и навсегда избранного пути.

На фоне наших недавних советских биологов, большинство которых до сих пор предпочитает читать научную литературу только на русском языке, а из разговорного иностранного знает только «хенде хох» и «гуд бай», молодой орнитолог, способный к синхронному переводу с русского одновременно на немецкий и английский, кажется некой ненормальностью, порождением какой-то другой страны. Однако именно таким предстал перед рыбащинцами Никита Чернецов в августе 1991 года, тогда еще студент 3 курса питерского университета, а за последующие годы работы на Биостанции значительно ускоривший процесс самообразования не только в языках, но и в областях собственно научных. С 1994 года ставший нашим стажером, он в 2000 году уже защитил кандидатскую диссертацию по очень модной сейчас в Европе теме, в основном связанной со стратегией миграционных передвижений и остановками на пути перелета, что у научных птицеловов в мире означает как “stopover sites”. По-итальянски эффектно-черноволосый, холерического темперамента, с очень быстрой, громкой и часто образной речью, Никита почти всегда оказывается в центре любой компании, а для всяких приезжих немцев становится приятным сюрпризом, а иногда и просто спасением. Весьма небрежный в одежде и не приверженный к немецкого типа аккуратности, он, тем не менее, проявляет завидную тщательность как в собственных, особенно инструментальных, научных исследованиях, так и при переводах русских текстов для нашего англоязычного журнала.

Не имея в обычной жизни явных признаков какого-либо хобби (за исключением, может быть, вполне естественного и не скрываемого интереса к выдающимся по внешним данным молодым особям противоположного пола), Никита, однако, всегда внимательно читает попадающуюся ему в руки поэзию. Скорее всего, в этом проступает интерес к призванию собственного деда, известного советского поэта Всеволода Рождественского. Как еще один пример тесноты нашего мира, не могу здесь не вспомнить посещение Рождественским в 1956 году нашего литературного кружка в 199-й ленинградской школе, в котором я состоял и после её окончания, и его критическую оценку наших графоманских опытов. На сделанной мной тогда фотографии Всеволод Рождественский сидит в президиуме, что-то записывая, под привычным и почему-то еще не убраным бюстом великого вождя всех времен и народов, а мой школьный коллега восторженно декламирует свои очередные зарифмованные признания в верности советско-патриотическим идеям.

За прошедшие сорок лет на Биостанции полностью сменилось уже не одно поколение орнитологов, и хотя теперешние трудности профессиональной научной жизни очевидны, всё еще появляются молодые специалисты, тянущиеся к такой жизни любыми путями. Это внушает оптимизм даже таким уходящим под занавес скептикам, как автор этих хаотических строк.

А БЫЛА ЛИ НАУКА?

Нам было двадцать или боле,
И вырвавшись едва на волю,
В науке, трезвой, как вода,
Вина мы жаждали всегда,
И спиртом обжигая душу,
В морях идей искали сушу,
Но по изменчивым волнам
Назад отброшены, как хлам.

При любых разговорах о научном руководстве и о качестве науки я всегда вспоминаю своего бывшего сокурсника Сергея Инге-Вечтомова. Теперь это известный генетик, членкор РАН, взобравшийся высоко и по административной лестнице в Президиуме Петербургского Научного центра. Председатель этого Президиума, директор Физико-Технического института им. Иоффе, свеженький Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов, по его собственному выражению, «любит повторять» изречение профессора Инге-Вечтомова: «Мы – страна оптимистов, потому что все пессимисты уже уехали из России». Я же вспоминаю Инге-Вечтомова из-за другого его выражения по поводу науки.

Было это в 1965 году, когда я, приехав с Куршской косы, сдавал вступительные экзамены в аспирантуру университета. Мы встретились с Сергеем в университетском коридоре, и я сообщил ему, что поступаю в аспирантуру к Алексею Мальчевскому. На лице Инге-Вечтомова отразилось явное недоумение, и он свойственной ему скороговоркой произнес: «А что там делать? Там ведь науки нет и в ближайшее время не предвидится!» Несколько обескураженный этим, я пробормотал что-то о том, что не всем же заниматься генетикой, хотя мог бы ответить и правдой – я очень уважал Мальчевского как орнитолога, но тогда мне совсем было не важно, кто и в каком учреждении будет моим руководителем, поскольку основные контуры и результаты диссертационной работы были уже совершенно ясны и мне нужна была лишь надежная «крыша» для ее воплощения (до сих пор не понимаю, почему Белопольский так легко отпустил меня к Мальчевскому, а не предложил мне быть под его собственным руководством). Недоумение на лице Сергея сменилось тем неявным выражением осторожной и снисходительной жалости, какое бывает у высоколобых интеллигентов при случайном разговоре «за жизнь» с представителями плебса. Такое же выражение лица в разговоре со мной я отмечал иногда и еще у одного столь же прогрессивно и решительно мыслящего ученого – физика Виктора Горшкова, друга и бывшего родственника Виктора Дольника. Горшков в последние годы занимался не только своей физикой, но вместе с Дольником в большей степени и, возможно, с бóльшим интересом, проблемами глобальной экологии и шансами выживания человечества.

Вопрос, поставленный в заглавии этого раздела, может показаться нелепым по отношению к описываемой Биостанции на Куршской косе. Можно ли сомневаться, была ли там наука, если многочисленные статьи сотрудников печатались в центральных отечественных и в иностранных научных журналах, если сотрудники регулярно выступали с докладами на всяких, в том числе и международных конференциях, если, наконец, директор Биостанции Виктор Дольник был избран членом орнитологических обществ США, Германии и Голландии, а автор этих строк – членом-корреспондентом Американского Союза орнитологов. У нас, как и у всех людей, занимающихся наукой, всегда не хватало двух основных составляющих – новых достойных идей и финансирования. И всё же позволю себе дальше развить эту будоражащую тему сомнений в адекватности определения нашей деятельности как научной.

Рутинное кольцевание птиц изо дня в день на протяжении 7 месяцев в году в течение 40 лет... Окольцовано более двух миллионов птиц почти 200 видов, получено более 7 тысяч «возвратов» колец из других мест, стран и континентов, и более 20 тысяч окольцованных птиц поймано повторно в месте кольцевания. Впечатляющие цифры, но что же дальше? Если это наука, то всякая наука подразумевает четкий план исследований, сроки исполнения, ожидаемые результаты, расписание финансирования отдельных этапов и так далее, и тому подобное. Было ли это у нас? Пятилетние научные планы готовились регулярно и тщательно, но в них ни разу не упоминалось о предстоящих усилиях по отлову и кольцеванию птиц, и хотя деньги на всё оборудование и ловушки мы получали, но это шло по другим, более научно звучащим статьям расхода. Многочисленные статьи с анализом результатов кольцевания и публиковались, и приводились в отчетах о научной работе, но сама деятельность по кольцеванию птиц никогда официально не планировалась.

Массовый и трудоемкий отлов и тщательное обследование и кольцевание птиц было всегда как само собой разумеющейся работой, как рутина повседневного существования, как образ нашей птицеловной жизни. Временами из низов, из устало ворочающихся фигур после очередного «многотысячного» дня работы, когда в закрывающихся полусонных глазах птицелова всё еще продолжали мельтешить мечущиеся птицы, раздавались глухие голоса: «А зачем нам кольцевать скворцов? Про них уже все известно!» «А зачем теперь кольцевать зябликов, если мы уже издали про них монографию?» Такие вопросы в наших условиях были совершенно риторическими. Если посмотреть со стороны, ситуация эта была удивительной и, по-видимому, достойной специального изучения. Занятие, на которое научные сотрудники тратили наибольшее количество рабочего времени, в планах не значилось, цели его нигде не были определены, а о сроках не то что официально, но даже и в частных разговорах упоминать было не принято и считалось чем-то шокирующим и бестактным. Ведь Рыбачинские ловушки – предмет гордости, наш отличительный в орнитологической среде знак, а если это так, то они должны работать всегда!

Известно, что специалист, долго и увлеченно занимающийся своей сугубо отдельной темой, постепенно так отдаляется от прочих областей той же самой науки, что нередко начинает считать всё остальное, кроме своего, не только неинтересным, но и ненужным. Такой подход оказался возможным и в пределах орнитологии. Виктор Дольник, на пиковом расцвете своих занятий по

изучению метаболической регуляции состояния птиц и биоэнергетических ограничителей размеров летающих животных, полагал (и, по-видимому, совершенно искренне), что вся наша возня с Рыбачинскими ловушками, с отловом и кольцеванием всех этих сотен тысяч птиц мало что может дать современной орнитологии в плане ее передовых достижений на мировом уровне, и в чем-то, возможно, и был прав. Именно тогда из его уст, любящих четкие схемы, вышло определение «Ловушки – забава Белопольского!», повторяемое затем всеми сотрудниками совершенно с разными интонациями в зависимости от того, в какой степени материалы отлова птиц использовались сотрудником в его работе. На священном пьедестале красовались тогда лишь экспериментальные исследования, преимущественно в области фотопериодизма и биоэнергетики, все же остальные орнитологические интересы подвергались нескрываемому остракизму, а носители этих интересов считались людьми как бы второго сорта. Тогда, при приходе после Белопольского к власти, Дольник убрал с побережья залива вблизи Биостанции Рыбачинские ловушки, чтобы ничто не отвлекало истинных ученых от настоящей науки. Но времена менялись, и отношения тоже. Вскоре и сам директор временами нисходил до анализа результатов отлова и кольцевания птиц.

Еще одним примером может служить замечательный в этом отношении разговор Дольника с Пукинским летом 1969 года, свидетелем чего я невольно оказался. Произошло это в Ашхабаде, в кулуарах Пятой Всесоюзной орнитологической конференции. В пылу общего обсуждения каких-то актуальных орнитологических проблем Юрий Пукинский произнес что-то типа: «Мы, орнитологи, должны же понимать, что ...» Стоящий рядом Виктор Дольник вдруг с иронией сказал: «Ну, ты ведь не орнитолог, а фотограф!» Пукинский с расширившимися от удивления глазами тут же мгновенно парировал: «Это ты не орнитолог!» «А кто же?» - столь же натурально удивился Дольник. «Физиолог, это же всем ясно!» – убежденно заключил Пукинский, и оба собеседника, хотя и несколько взбудораженно, но, к счастью, искренне рассмеялись.

В отличие от вечно существующего Двенадцатого с неотъемлемыми от него Рыбачинскими ловушками, полевой стационар в самом Рыбачьем, на Росситенском мысу возле Биостанции, был организован в 1993 году как часть совместной с немецкой станцией Vogelwarte Radolfzell программы, рассчитанной на десять лет. Огромное количество семиметровых паутиных сетей, а в последние годы и особые, высотные сети для учета стартующих ночных мигрантов, и специальные, твердо соблюдаемые немецкие правила измерения и обследования пойманных птиц, призваны были решать насущные проблемы науки о стратегиях наших объектов изучения, неиссякающими мириадами ежегодно заполняющих куршские небеса. Представляет особый интерес, что же будет с этим стационаром, когда эта десятилетняя программа успешно завершится в 2002 году. У пишущего эти строки есть небезосновательное чувство уверенности в том, что этот стационар станет таким же вечным, как и Двенадцатый.

Среди многочисленных гостей Биостанции особое место занимали биологи, посещавшие нас во время устраиваемых нами семинаров, школ и конференций (слова «симпозиум» мы старательно избегали, чтобы приезжающие заранее не исходили из его первоначального древнегреческого и римского смысла, означавшего попросту большую пьянку). Таких больших сборищ на косе было



В Рыцарском зале одинаково комфортно чувствовали себя и российские, и германские орнитологи. Владимир Федоров, Марк Шумаков, Дина Люлеева, Виктор Булюк, Татьяна Ильина, Татьяна Дольник, Андрей Мухин, Петра Вурст.



Рыцарский зал, 1996. Франц Байрляйн, Ульрих Куэрнер, Петер Бергольд, Рольф Шленкер, фрау Бибах, Андреас Хельбиг, Херберт Бибах. Фото автора.



Российско-германский семинар на сорокалетнем юбилее Биостанции Рыбачий. 1996.
Фото автора.



Задушевные застольные беседы на волапуке. Петер Бертольд, Виктор Дольник,
Владимир Паевский. Рыцарский зал, 1996.

шесть, от первого в 1961 до последнего в 1996 году, посвященном сорокалетию российской Биостанции (седьмое, посвященное столетию основания Тинеманном Vogelwarte Rossitten, должно состояться в 2001 году). Все они начинались в атмосфере несколько тревожного ожидания дружеских встреч и новых лиц и знакомств. А потом, уже в разгаре совещания, когда оно, несмотря на утреннюю науку, всё больше и больше напоминало весьма затянувшуюся праздничную встречу, большинство участников находилось в состоянии полной расслабленности и слонялись по зданию Биостанции с не сходящими с лица улыбками, а вечерами в обязательном порядке опустошали нескончаемые батареи бутылок с разными этикетками, но примерно одинакового содержания.

Все праздничные возлияния, как впрочем, и обычные летние трапезы при большом стечении всяческого народа, проходили на Биостанции в Рыцарском зале – очень вместительном и специально для этого созданном. Название «Рыцарский» он получил после своего преобразования, затеянного Дольником, как всегда, в русле полного самодеятельного рукоделия. Сотрудники, в обязательном порядке привлеченные к эпохальному действу, в спешном порядке создавали из подручных материалов нечто издали действительно напоминающее средневековые апартаменты рыцаря средней руки, со славой вернувшегося из крестового похода. И хотя все эти бутафорские латы, шлемы и копья впечатляли нас самих недолго, гостям всё это якобы очень нравилось. И в Рыцарском зале, и на незабвенной Верхней кухне, так же, как и в «слоновнике» на Двенадцатом было выпито неисчислимое количество цистерн кофе, чая и, конечно же, спирта в самом его разнообразном виде и качестве, от «сучка» калининградского производства и примитивной «кровоавой Мэри» до любимых настоек на перегородах грецких орехов и на «душистом колоске».

Осенью 1961 года в Рыбачьем прошел семинар Прибалтийской комиссии по изучению миграций птиц. Среди её участников был и возглавлявший эту комиссию эстонский профессор Эрик Кумари, всегда деловито и оптимистично выглядящий, небольшого роста, с четко произносимыми словами русского языка, и литовский профессор Антанас Вайткавичюс, регулярно заглядывавший к нам на Двенадцатый, обожающий слушать и рассказывать анекдоты, особенно политические, и литовские кольцеватели птиц – всегда серьезный Витаутас Скуодис, и, напротив, всегда пытавшийся нас рассмешить, а заодно и сподить Леонас Езерскас, прозванный нами «утконосом». Были тогда и два красавца-орнитолога из Риги, Янис Вискне и Петерис Блум. Из Ленинграда, помимо двух супружеских пар орнитологов – Георгия Носкова с Анной Гагинской и Юрия Пукинского с Эмилией Головановой, приехала и моя сокурсница Нина Иванова, впоследствии защитившаяся по теме постэмбрионального развития куликов, и ныне живущая в Германии.

Наконец, участником семинара был и выпускник нашей кафедры Владимир Зимин, осевший на всю жизнь в Петрозаводске и занимавшийся почти теми же видами птиц, что и мы, но по проблемам структуры и становления локальных популяций исповедывающий впоследствии концепцию, прямо противоположную нашей. С глухим сильным голосом, пропахшим табачищем, с раскачивающейся походкой моряцкого типа и часто с торчащими во все стороны соломенными волосами, Зимин очень



На совещании-школе по биоэнергетике. Игорь Шилов, Роальд Потапов, Вячеслав Шевяков. Рыбачий, Биостанция, 1974. Фото Д. Люлеевой.

часто и всегда очень дружелюбно общался с нами на всех мыслимых официальных и неофициальных сборищах. Защитивший докторскую диссертацию по своей книге о популяционной экологии певчих птиц в северных частях их ареалов, он для меня явился в первую очередь тем уникалом, кто заставил птиц гнездиться в специально сооруженных им местечках – в расковыранных пнях, в земляных нишах, в прибитых им палках и в тому подобных рукотворных «природных» объектах.

Практически с тем же основным составом участников (из латышей на этот раз был и руководитель орнитологической лаборатории, очень активный и принципиальный Харий Михельсон) состоялось и выездное заседание другого из очередных семинаров Прибалтийской комиссии по изучению миграций птиц, проходившего в Калининграде в октябре 1971 года. Приехали они все на рейсовом автобусе и высадились на Двенадцатом в день самого массового пролета, когда мы, окончательно вымотанные бесконечными стаями зябликов и юрков, не смогли даже устроить коллегам гостеприимную встречу. Дольник в то время был в Москве, наша единственная машина в ремонте, и нам с большим трудом удалось как-то разместить гостей и провести два заседания, закончившиеся, конечно же, дружески-бутылочным застольем.

Наибольшее количество советских участников собрала школа по биоэнергетике, устроенная Виктором Дольником в Рыбачьем в октябре 1974 года. Приехало тогда более тридцати биологов, преимущественно молодых, из всех городов и вузов с орнитологическим уклоном, от Калининграда до Одессы, Перми, Свердловска и даже Якутска. Только из Москвы было десять человек, в том числе и проявлявший всегда особую симпатию к Дольнику и к Биостанции профессор Игорь Шилов, и Валерий Ильичев, тоже профессор, но из тех, о которых в народе обычно говорят «из молодых, да

ранний». Последний всегда удивлял всех и особой склонностью к организационно-деловой активности, и практически полным невосприятием юмора, даже в тот момент, когда Лёничка Соколов на банкете неожиданно пригласил его на танец (естественно, на спор с кем-то из наших юмористов). Из Института эволюционной морфологии и экологии животных приехал несколько скептически настроенный Александр Кишинский и доброжелательно улыбающийся и временами выглядящий восторженно-наивным Владимир Шишкин. Очень сожалею, что только однажды мне довелось тесно пообщаться с Кишинским - этот так рано ушедший от нас орнитолог оказался очень интересным и умным собеседником.

Из очень известного Свердловского института экологии тогда под усиленным конвоем профессора Николая Данилова и несколько грубоватого в поведении и хорошо нам уже знакомого Станислава Постникова, верного последователя идей Дольника, прибыла поразившая всех своей неотразимой внешностью аспирантка Татьяна Будрина, вскоре сменившая фамилию на Соколову. А из Окского заповедника, одного из самых активных наших заповедников по объему и качеству проводимой научной работы под руководством сначала Владимира Теплова, а затем Святослава Приклонского (который мне за два года до этого удалось, к счастью, посетить и пообщаться там, на совещании по методам отлова и мечения животных, с Ардалионом Винокуровым, Ярославом Сапетиным и Валентином Рахилиным), приехал, кроме прочих, Александр Нумеров. Активный и вездливый во всех научных вопросах, он был тогда из числа тех немногих орнитологов, которые



В предвкушении юбилейного банкета... Наталья Виноградова, Сергей Резвый, Леонид Соколов, Татьяна Соколова, Валерий Силецкий, Михаил Яблонкевич.
Рыцарский зал, 1976. Фото Д. Люлеевой.



Восьмидесятилетний юбиляр Лев Белопольский в туре вальса с Татьяной Дольник под охраной рыцаря Феде. Рыцарский зал, 1987.



Наши коллеги на Куршских дюнах. Виталий Бианки, Дмитрий Нанкинов, Войцех Каня, Янис Вискне. Куршская коса, 1989. Фото автора.



Передышка на пути к сияющим высотам. Участники Алма-Атинской конференции, ведомые Анатолием Ковшарем, в горах Тянь-Шаня, 1978. Фото Д. Люлеевой.

интересовались популяционно-демографическими вопросами. Позднее, весной 1988 года, я был оппонентом (почему-то вместе с Георгием Симкиным, хотя и прекрасным специалистом, но не в такой теме) на его кандидатской защите, проходившей в подмосковном Институте охраны природы и заповедного дела. На пути туда, в автобусе, я случайно встретился с Владимиром Флинттом, личностью общеизвестной и по своим книгам, и по всяким руководящим официальным и неофициальным постам, но с которым я беседовал впервые. Я так и не решился его спросить, почему же он числится в автореферате Нумерова первым из двух указанных руководителей, а Приклонский, с кем собственно и работал Нумеров долгие годы в Окском заповеднике – только вторым.

Из петрозаводской лаборатории Зимина прибыли Николай Лапшин и Александр Артемьев. Постоянно готовый к действию и выглядящий всегда заинтересованным Лапшин, бывавший на косе и в другое время, относится к той породе орнитологов, которых можно назвать гордым именем «олигофил». Его единственная и неисчерпаемая в науке любовь – род *Phylloscopus*. Именно пеночки были исключительным объектом его бесконечного исследования на протяжении более четверти века, но только теперь результаты его трудов могут стать известными мировой общественности, поскольку ранее он тщательно прятал от нее все свои результаты в истинно русских, очень малоизвестных изданиях.

Среди литовских коллег в Рыбачьем на школе присутствовали и Мечислав Жалакявичюс, один из самых энергичных тогда молодых орнитологов, интересовавшийся всеми аспектами изучения миграций, в том числе и их радарными исследованиями, и Альгис Пятрайтис, и Вячеслав Шевяков, ставший потом аспирантом у Валерия Ильичева и занимавшийся практическим аспектом нашей

науки – попытками защитить самолеты от опасности столкновений с птицами. С Шевяковым, который теперь, как и все деловые люди советской закваски, давно забросили науку и стали бизнесменами, в те времена мы встречались, обычно за бутылкой, довольно часто, и особенно сдружился с ним Марк Шумаков. Но наше тогдашнее общение почти не имело никакой связи непосредственно с наукой.

Сборище осенью 1976 года, посвященное двадцатилетию Биостанции, почему-то осталось в памяти как очередное заурядное из непрерывно следующих друг за другом совещаний, перемежаемых праздничными банкетами с чисто русским размахом. В том году весной мы сначала побывали в Одессе на школе по методам изучения миграций птиц, где, после длительной путешествия на автобусах под нескончаемые одесские шуточки Анатолия Корзюкова, устраивали радостные пикники на лужайках. Затем мы были участниками Девятой Прибалтийской орнитологической конференции в Вильнюсе, где кулуарно пообщались сугубо о науке с Харием Михельсоном, Тайво Кастепыльдом и Валентином Кохановым, и сугубо не о науке с Юрисом Руте, Мачеем Луняком и Леонидом Назаренко, после чего оказались на сверх-увеселительной поездке в заповедник Жувинтас с большим и обильным застольем и лодочным катанием по озеру. Наконец, многие из тех же орнитологов, что сопровождали нас в этих сборищах, оказались и на нашем юбилее. Просторный Рыцарский зал едва вмещал всех жаждущих еще раз пообщаться орнитологически-неформально и, разумеется, дружески-запойно.

Конференция на Биостанции в октябре 1989 года с необычно большим для тех лет количеством иностранцев была 15-ой встречей представителей Центров кольцевания социалистических стран. Впервые мы могли дать потрогать нашим зарубежным коллегам Рыбачинские ловушки и все наши предметно-осязаемые способы обследования тысяч птиц во время массового отлова. В отличие от ловушек, все другие разговоры о каких-то совместных планах центров кольцевания так и остались разговорами, тем более что всё остальное «социалистическое» содружество вскоре приказало долго жить. Из наших советских участников-кольцевателей, помимо, разумеется, целой команды из Центра кольцевания во главе с Инной Добрыниной, приехали и с самого юга страны – Эдуард Гаврилов из Алма-Аты, и с самого севера – Виталий Бианки из Кандалакши, а также Владимир Зимин и Николай Лапшин из Петрозаводска и Сергей Резвый из Питера. Профессор Эдуард Гаврилов, заведующий лабораторией орнитологии в казахском институте зоологии, наш давний соратник в проблемах миграций птиц, со свойственной ему организационной целеустремленностью и жесткостью сумел организовать впервые в Казахстане массовый отлов птиц ловушками Рыбачинского типа. Он создал целую сплоченную группу кольцевателей (Икар Бородихин, Анатолий Сема, Анатолий Гисцов, Сергей Ерохов, Сергей Шимов, Владимир Березовский и другие), которая вскоре обошла нас в количестве кольцуемых птиц на ставшем после этого знаменитом у орнитологов перевале Чокпак. Самое при этом примечательное – форма в данном случае совсем не определяла содержание: в наши Рыбачинские ловушки ласточки и врановые птицы попадают очень редко, а такие же ловушки на Чокпаке именно этих птиц ловили в наибольшем количестве.

Двое орнитологов постоянно вызывали мое удивление, но совершенно по разным поводам. Виталий Бианки, старейшина северной орнитологии, славный продолжатель орнитологической династии Бианки, практически всю свою профессиональную жизнь, с начала 1950-х годов, работающий в Кандалакшском заповеднике, специалист практически по всем группам птиц Белого моря, а особенно по водоплавающим и прибрежным, на всех наших довольно частых встречах поражал меня редким сочетанием своей спокойной интеллигентной внешности с очень здоровым, цветущим видом. Сергей Резвый – один из известных орнитологов питерского университета, давний сподвижник Большакова, отличается своим внушающим доверие и уважение густым баритоном приятного тембра и правильной, профессорского типа, научной речью. Он всегда удивлял меня своим полным равнодушием к обретению всяких профессиональных регалий, в результате чего при своем докторском научном багаже официально не имеет и кандидатского статуса.

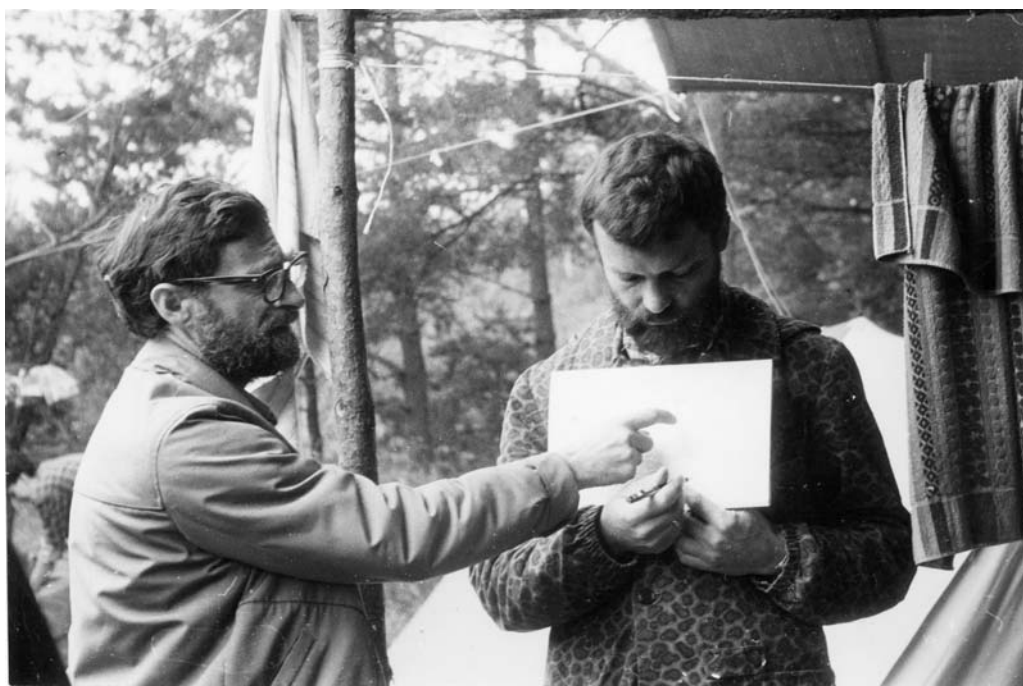
Конечно же, Прибалтика тоже была представлена в лице всегда серьезного, весьма интеллигентно-положительной внешности, фанатика не только кольцевания, но и выпуска его печатных результатов Ричардаса Патапавичюса из Литвы и всегда к нам приезжавшего руководителя латвийской орнитологической лаборатории Яниса Вискне, на этот раз - вместе с Юрисом Казубиернисом. На конференции тогда был и очень часто посещавший СССР, наш постоянный друг и соратник, влюбленный в Россию болгарин Дмитрий Нанкинов. Этого стройного, черноволосого и всегда радостно-приветливого Митю мы вообще считали своим, тем более, что в Питере он и учился, и был в аспирантуре у Мальчевского.

На конференции был и Ярослав Шкопек из Чехословакии, круглоголовый, плотного телосложения, и его соотечественник Иржи Форманек, прославившийся тем, что ни разу не ответил на адресованные ему многочисленные письма из Москвы и Питера. Из Венгрии прикатил маленький, весь миниатюрный, кольцеватель Йозеф Бюки, старательно тренировавшийся в русском произношении. А из Финляндии прибыл на косу Пертти Саурола, одно время возглавлявший EURING, очень энергичный и очень общительный полевой орнитолог, специалист по совам и хищным птицам, всё еще подтверждающий до уже немалых лет свою давнишнюю славу человека, способного быстро взобраться по гладкому стволу дерева почти без всяких специальных приспособлений.

Появились на этой конференции, наконец, и Мачей Громадский с Войцехом Каней из Польши, у которых мы с Добрыниной не раз гостили, начиная с 1986 года, во время 12-й конференции «социалистических кольцевателей», когда мне впервые удалось приехать на родину моих предков по отцу. Громадский, человек очень положительного, серьезного вида, возглавляющий польскую орнитологическую станцию «Гурки Восточне», в последние годы, став единственным от Польши представителем во Всемирном фонде охраны живой природы, разительно изменился, превратившись в снисходительно улыбающегося, вальяжного, с манерами большого босса. А с Войтеком Каня, спокойным и рассудительным человеком с душой особого, филантропического склада, у меня связаны особые воспоминания событий 1986 года. Тогда я вместе с Войтеком очутился в костеле Святой Магдалины в Гданьске, куда прибыл со своими сторонниками будущий президент Лех

Валенса, и весь собравшийся в костеле народ, включая меня с Войтеком, после зажигательной речи Валенсы, взявшись за руки, мерно раскачиваясь, воодушевленно исполнил духовно-патриотические песнопения.

Тогда же, летом 1986 года, мы впервые побывали и на известном польском кольцевательном пункте Межея Вишлана, то есть Вислинской косе, существующем под эгидой так называемой «Балтийской кампании», организованной профессором Пшемиславом Буссе от своей вотчины – Исследовательской станции по изучению миграций птиц при Гданьском университете в сельском местечке Пшебендово. Эта станция, которую я посетил в 1994 году, представляет собой просто контору, устроенную на нижнем этаже большого усадебного дома, где и обитает со своим семейством сам Буссе, а все пункты отлова и кольцевания птиц находятся очень далеко от этого «центра». По-видимому, материальное положение этой станции целиком зависит от активности всего семейства, которое занимается на этой же земле большим бизнесом по выращиванию цветов и томатов. Ландшафт всех пунктов кольцевания, и на косе Хель, и на Вислянской косе, очень напоминает ландшафт Куршской косы, за исключением огромных дюн, которых там нет. Молодые сосновые посадки, песчаная почва, кое-где заросли тростников – вот где на протяжении уже более тридцати лет поляки тоже ловят птиц. Естественно, все проблемы, связанные с оценкой изменения численности птиц за этот период, существуют и у них, но в отличие от нас, они решают их только по особому способу, введенному Буссе. Весьма амбициозный и крайне скептически воспринимающий чужие мнения, любитель создавать собственные схемы и правила, Пшемислав Буссе в своих работах



Пшемислав Буссе и Войцех Каня на птицевом пункте «Межея Вишлана». Гданьск, 1986. Фото автора.



Ярослав Шкопек, Дмитрий Нанкинов, Инна Добрынина и Владимир Паевский.
Гданьск, 1986. Фото М. Громадского.

по динамике численности птиц широко пользуется пересчетами реальных данных – на стандартный период отлова, если ловили меньшее количество дней, на стандартное количество сетей, если их было меньше, и так далее. Более того, сосны за тридцать лет выросли настолько, что от бывшего ландшафта ничего похожего не осталось, однако науку делать всё равно надо, вот и приходится изобретать свою, польскую науку... Всё это очень напоминает усилия некоторых наших орнитологов по созданию особой русской науки.

Отличие нашей советской орнитологической науки от международной орнитологии еще несколько лет назад было очевидным – достаточно было заглянуть в любой широко известный журнал, например, *Ardea*, *Condor*, *Auk*, *Ibis*, *Avian Biology*. Среди тысяч имен авторов любого происхождения российских, а также имен из других республик СССР практически не было. А что касается наших сугубо «птицеловных» проблем, связанных со способом изучения результатов кольцевания, то тут у нас еще продолжался пещерный век, и слова «стохастические методы»,

которые призваны определять, например, полноту контроля популяции, воспринимались как что-то чуждое и даже враждебное. Свой, советский образ жизни, породил и свою, особенную, советскую науку. Печаталось бесконечное количество русскоязычных статей, тезисов и всяческих заметок в изданиях, которые можно было назвать «братской могилой», поскольку, кроме самих авторов, их никто никогда не читал. В наших птицеводных проблемах эти статьи содержали характерные русские термины, в остальном мире не встречающиеся: «территориальные связи», «гнездовой консерватизм», «дисперсный тип эволюции», «миграции расселения молодняка», «возвращаемость и невозвращаемость». К этому можно отнести и «сохраняемость» - термин, введенный Александром Бардиным, который, к его чести, всегда пользовался современными методиками и, разумеется, стохастическими методами в демографии. Тем не менее, хотя по своей содержательной сути этот термин правилен, он неизбежно должен переводиться как “local survival”, т.е. местная выживаемость, ибо в английском языке другого общепринятого термина на этот случай нет. Я убежден, что поскольку наука интернациональна, то вводить новую терминологию надо на английском языке в центральных мировых журналах (а уж потом их перевод надо использовать в русскоязычных статьях). Все эти термины очень бы удивили англоязычного читателя, если бы он смог это прочесть. Таких вопросов у них просто нет, поскольку все эти проблемы имеют уже исторический интерес. Наши горячие научные споры на эти темы на русском языке – не более, чем буря в стакане воды.

Горбачевская перестройка, хотя и привела в наше время к тщетности многих научных устремлений и к гибели целых научных школ, тем не менее, дала ту долгожданную свободу передвижений, которая сделала возможным быстрое проникновение бывших советских специалистов в общемировую науку. Некоторые российские орнитологи, такие как, например, Александр Андреев, Павел Томкович, Евгений Соколов, могут быстро входить в тесное научное содружество с иностранными коллективами и работать вместе очень плодотворно. Очень бы хотелось надеяться, что, в конце концов, все российские орнитологи не будут исключением в этом отношении.

ОРНИТОЛОГИ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Судьба наша слепа, но зрячи люди,
И чтобы догадаться, что же будет,
Не всматривайся в облачные дали,
А прошлого переверни медали.
При буквах КГБ я втягиваю плечи
И ясно вижу их зловещие предтечи:
Их ВЧК, ОГПУ, и что всем очень близко -
НКВД, без права переписки...

Какая может быть связь между политическим режимом и орнитологами и чем эти специалисты и любители птишек могут насолить существующему строю – эти вопросы кажутся забавными и незначительными. Первое, что приходит на ум – авгуры в Древнем Риме, которые, как известно, по поведению птиц и, в частности, по направлению их полета, должны были предсказывать будущее, преимущественно ближайшее – например, исход сражения. История умалчивает о том, были ли среди этих жрецов действительно любители птиц и можно ли было заниматься авгурским гаданием, не зная и глубоко не вникая в поведение птиц, но то, что сами авгуры считали себя жуликами, уже ясно по известному выражению «улыбка авгура».

В нашей стране, однако, нельзя быть не только авгуром, но и настоящим орнитологом, чтобы не вступить в конфликт со властью. Первый удар, нанесенный всей биологии Трофимом Лысенко и его приспешниками, коснулся прежде всего генетиков, но парадоксальным образом отозвался на орнитологах. Так, в начале 1950-х годов известный генетик Николай Дубинин, отлученный от генетики, вынужден был заниматься полевой орнитологией, а орнитолог Лев Белопольский, репрессированный после ареста и расстрела брата по так называемому «Ленинградскому делу» и высланный в Сибирь, вынужден был работать печником. В одном случае орнитология, следовательно, выступала как наказание, а в другом – недопустимой роскошью.

Второй ощутимый удар по зоологии и, прежде всего, полевой зоологии, нанес наш лысый «волюнтарист» и весельчак-кукурузник Никита Хрущев, когда после нескольких лет своего царствования естественным образом вообразил, что может сказать веское слово по любой проблеме в любой науке. Случилось ему краем глаза посмотреть какой-то научно-популярный фильм о заповедниках, и кадры человека с биноклем, да еще и в белых штанах, наблюдающего за пичужкой («бездельник!») вызвал неопиcуемый гнев Первого секретаря. Последствия сказались незамедлительно: началось сокращение территорий заповедников и их штатов. Мы, выпускники кафедры зоологии 1961 года, по наивности молодости, стали даже посылать письма в Центральный Комитет Компартии, основывая необходимость охраны природы и зоологии как науки (видимо, «оттепель» действительно наступила, т.к. видимым репрессиям мы за это не подверглись).

Разумеется, резвые журналисты тут же подхватили выгодную для них тему сатирического обличения этих придурковатых зоологов, тратящих народные деньги на изучение лягушек, пичужек и всего такого прочего, «не имеющего практического значения и не приносящего пользу народному хозяйству». В пылу этой развеселой, чисто советской кампании, Хрущеву услужливо подсунили автореферат кандидатской диссертации белорусского орнитолога Алексея Крапивного, успешно защищенной в 1958 году и посвященной экологии и хозяйственному значению белого и черного аистов и серой цапли. И Хрущев, конечно же, в своем очередном докладе весной 1962 года всласть поиздевался над темой этой диссертации, заявив в итоге, что такой труд не принесет пользы ни нам, ни нашим внукам. Как в таких случаях и полагалось, дирекция минского Института биологии публично покаялась в тяжких грехах и не только пересмотрела всю тематику исследований, дабы удовлетворить «запросы народного хозяйства», но и основательно перетряхнула свой ученый совет по защите диссертаций.

Результаты организованной травли зоологов сказывались, конечно же, и на самой науке, и на судьбах ученых, но оригинальным образом отразились на названиях научных трудов. Именно с тех пор, с начала шестидесятых годов, появилась тенденция давать самым обычным статьям, книгам и диссертациям, по крайней мере в биологии, названия самого всеобщего, глобального характера. И никого уже не удивляло, если в диссертации под названием «Системные закономерности репродуктивных реакций животных» шла речь просто о выборе птицами места для гнезда. Тенденция эта сохранялась очень долго, и даже в 1982 году, когда коллектив Биостанции Рыбачий подготовил монографию «Популяционная экология зяблика», где действительно подробно описывалась и анализировалась одна популяция зяблика, в плане редакционно-издательского совета стояло другое название: «Популяционная экология птиц (на примере вьюрковых)». Потребовалось личное решение заведующего биологической редакцией ленинградского издательства «Наука» Геннадия Тарасова, чтобы выпустить книгу с названием, соответствующим ее содержанию.

Одновременно с описываемыми событиями начала шестидесятых нас захватило и неумное желание оказаться среди тех счастливиц, которых отберут на предмет посылки в развивающиеся страны Африки преподавать биологию. Кампания эта была очень бурной, и счастливицей оказался мой сокурсник Борис Васильев, геоботаник, действительно надолго уехавший в Мали вместе со своей женой, протозоологом Элеонорой Орловской, по прозвищу Малява. Что послужило Борису путевкой в Мали – хорошее ли знание французского, или же какие-то другие качества, обычно принимаемые советскими органами в качестве основного критерия, я не знаю. А вспомнил я об этом сейчас по той простой причине, что это тоже имело непосредственное отношение и к птицам, и к Виктору Дольнику. Дело в том, что однажды Боб с Малявой привезли Дольнику из Африки молодого жако (по-видимому, контрабандного).

Как и все крупные попугаи, Рома (такое он получил имя) был самолюбив и держался весьма независимо. Перевезенный в Рыбачий, он на какое-то время стал основной орнитологической достопримечательностью Биостанции, и всем гостям его обязательно демонстрировали. Основная трудность его содержания вначале упиралась в особые гастрономические вкусы. Все предлагаемые

ему фрукты, плоды и корнеплоды он нехотя пробовал и тут же эффектно отвергал, предпочитая жевать сухие макароны и консервированные бобы, но только импортные. Как и подобает настоящему ученому, Дольник с попугаем на плече стал совершать длительные прогулки по саду и лугу, чтобы практическим путем в «естественной» обстановке выяснить, наконец, особенности его предпочитаемой диеты. Закончились эти прогулки, конечно же, драматически – попугай улетел. На его поиски были брошены лучшие следопыты Биостанции, но первое время их усилия были тщетными. По поселку были развешаны соответствующие объявления о пропаже. Не помню, были ли в них упоминания о вознаграждении, но если бы народ узнал истинную цену жако, то я полагаю, что все работы, как рыболовецкие, так и сельскохозяйственные, были бы сразу прерваны. К счастью хозяев, прогулки Ромы были недолгими, вскоре он нашелся и сам был не против водворения в дом. Разумеется, жив он и по сей день (ведь жако живут в неволе по крайней мере до 60 лет в условиях нормального содержания), и когда я изредка появляюсь в питерской квартире Дольников и слышу от него какие-то звуки, которые, видимо, должны обозначать фразу по-русски, я прошу хозяев ее перевести, только после этого действительно начинаю слышать эти слова. Допускаю, однако, что не Рома плохой имитатор, а я плохой аудитор. Лишь однажды я сразу же и четко услышал слово, произнесенное Ромой. В день своего рождения Дольник, одетый в русскую косоворотку, встречал гостей с попугаем на плече (этакая смесь африканского с нижегородским), и, по давно установившейся традиции, с каждым из вновь пришедших тут же выпивал рюмку водки. И вот в момент нашего чоканья Рома вдруг громко и явственно произнес: «Позорр!»

История с попугаем, конечно, не имела никакого отношения к теме политической власти. Биостанция в Рыбачьем, как ни странно, все время своего существования при советском строе обходилась без прямого партийного влияния, так как единственным и настоящим активным членом КПСС был лишь наш первый бухгалтер Екатерина Сабурина, местная жительница, а Лев Белопольский, и это нам было достоверно известно, состоял в партии только формально, ибо по тому, что мы иногда слышали от него, он бы мог быть первым кандидатом не только в диссиденты, но и снова на нары, хотя вел он себя в целом достаточно осторожно. Мы догадывались, конечно, кто из наших сотрудников осуществлял негласный надзор за порядком, то есть был стукачом, вернее стукачкой. Но активность этой стукачки была, видимо, столь низкой, что представитель местного районного отделения КГБ из Зеленоградска сделал однажды попытку завербовать еще одного сотрудника, и уже не в Рыбачьем, а преимущественно работавшего на стационаре «Фрингилла», единственным подходящим критерием которого было социальное происхождение. Однако тот не только отказался быть в этой роли, но и с обезоруживающей откровенностью все это нам и рассказал.

Упомянутый представитель КГБ, молодой человек весьма приятной внешности, появлялся изредка на Биостанции, и буквально огорошивал каждого из нас, с обаятельной улыбкой обращаясь к нам с одними и теми же словами: «Ну, рассказывайте!». Некоторые, как оказалось, действительно начинали что-то рассказывать – про птичек. Но птички его почему-то не интересовали, и ловким образом разговор тут же менял свою тему. Мне это было все достаточно уже знакомо, поскольку с КГБ я столкнулся весьма близко в 1966 году.

Вызванный тогда повесткой в Ленинградский так называемый «Большой дом», я даже не сразу понял, зачем я им нужен. И только после начала «беседы» я вспомнил о своем давнем школьном приятеле, несостоявшемся поэте Мише Коносове, с которым долгое время общался и в литературном кружке, и какое-то время уже после окончания школы. Именно тогда и предложил мне Миша вступить в какую-то организацию, в названии которой были слова «Христианские» и «демократы», и членами которой были студенты «Техноложки» и Университета. Организация была создана якобы для борьбы и за свободу слова, и за всю прочую свободу в новой стране без атрибутов и догматов советского строя. Быть Мишиным соратником я тогда отказался, и, понятно, не по идеологическим мотивам, а просто потому, что хорошо знал Мишу с его неумной фантазийностью и безалаберностью. Только в Большом доме я осознал, что эта организация – не плод Мишиной горячечной фантазии, а действительно существующее явление и, к тому же, уже разоблаченное. После «беседы» я понял, что моя основная вина состояла в том, что после нашего разговора с Мишей я об этом просто забыл, а не побежал куда следует, и не рассказал об антисоветской организации, и о том, что мне давали читать крамольную книгу «Новый класс» Милована Джиласа, исключенного из Союза коммунистов Югославии за антимарксистскую пропаганду. Миша же, бедолага, как стало ясно, раскололся полностью, и назвал всех, кого сам пытался привлечь в организацию. Дело мое на этой «беседе» со следователем не кончилось, а имело продолжение сначала в Университете (я тогда был в аспирантуре у Мальчевского), где я имел разговор без свидетелей с партийным секретарем факультета Александром Батуевым, а потом и на самом суде, где я выступал как свидетель. Как потом сказала мне жена Миши, мое неожиданное заявление на суде об особенностях Мишиного характера – склонности к мечтаньям и неспособности к долгой серьезной работе – очень ему помогло, хотя он и отсидел какой-то срок. Интересно, что в перерывах судебных заседаний, во время прогулок по Фонтанке, со мной очень настойчиво хотел сблизиться еще один «свидетель», якобы проходящий по делу. Целенаправленность его разговоров была настолько очевидна, что я не выдержал, и сказал ему, что современные деятели КГБ должны быть более искусны в своей профессии. По-видимому, в КГБ при появлении моей фамилии сразу же покопались в картотеке и вытащили сведения о брате моего отца, Сергее Паевском, осужденном и расстрелянном в 1937 году «за связи с иностранцами».

Все мы долгое время были «невъездными», за границу поехать не могли, и все получаемые приглашения на зарубежные конференции мы тут же выбрасывали за ненадобностью. Хотя наши иностранные коллеги и знали об этом, они всё же каждый раз в письмах спрашивали, почему же мы не присутствовали на том или ином совещании. Каждый раз ссылаться на болезнь или особые обстоятельства было глупо, и я просто не отвечал на это. Лишь однажды я на такой же вопрос от польского орнитолога Мачея Громадского, с которым мы встретились в Алма-Ате, на Всесоюзной конференции по миграциям птиц, ответил правдой. К счастью, вскоре эту правду можно было уже широко озвучивать. Тем не менее, в 1986 году, когда мы с Инной Добрыниной поехали в Польшу на совещание представителей центров кольцевания социалистических стран, мне всё-таки пришлось проходить через разрешительную партийную систему и отвечать чиновнику в Василеостровском

райкоме на вопросы, никак не относящиеся к сути нашей поездки. Интересно, что один из сотрудников Зоологического института, специалист по рукокрылым Петр Стрелков, проходя через этот же райком перед намеченной поездкой во Вьетнам, совершенно изумил партийных чиновников. Они спросили его о каких-то аспектах государственной политики Вьетнама, на что Стрелков, с прямой рубахи-парня, вдруг заявил: «Да я туда еду не политикой заниматься, а мышей ловить!» Ошарашенные чиновники, не ожидавшие такой наивной наглости, тут же и отказали ему в поездке, сказав, что уж чего-чего, а мышей-то и у нас достаточно, незачем, мол, за ними во Вьетнам ехать.

После десятилетия перестройки, а вернее полной перетряски всего общества, поставившей всех с ног на голову или наоборот, можно лишь с горечью констатировать, что и орнитологи подверглись такому же воздействию, как и остальные рядовые деятели научных коллективов. Самое мягкое воздействие, помимо нищенских доходов за любую орнитологическую работу, состояло в том, что человек стоял перед выбором: остаться в полунищенском состоянии, уйти из науки, или же уехать за границу в поисках призрачного счастья. Полностью порвали с наукой орнитологи, кандидаты наук Владимир Москалев, Александр Соколов, Вячеслав Шевяков (последний из них – единственный из орнитологов, кто стал весьма крупным бизнесменом в пределах своей родной Литвы). Уехал в Америку и наш Михасик – сотрудник Биостанции, кандидат наук Михаил Яблонкевич, где в течение уже восьми лет кормит птичек и зверюшек, сначала в зоомагазине, а теперь в исследовательском медицинском центре – на большее рассчитывать не приходится. По-видимому, в лучшей ситуации оказался сотрудник отдела орнитологии в ЗИН'е Евгений Соколов, уехавший в Германию на год, но основательно там прижившийся, - он действительно уже два года работает не только по специальности, но даже и в русле своих прежних научных интересов. Я лишился иногороднего аспиранта - Сергея Зуенка из Минска, а также Сергея Килина из Томска – оба они, настоящие орнитологи по призванию, вынуждены были уйти из науки во имя спасения своих молодых семей от унижающей бедности.

В наши дни, при торжестве криминалитета и разгуле преступности, когда гибель не только банкиров и бизнесменов, но и случайных людей на мирных улицах стали частью нашей повседневной жизни, это сказалось впрямую и на жизни некоторых орнитологов: кандидат наук Елена Седунова была убита вместе со своим отцом на даче.

Самым причудливым образом – перестройкой мозга - горбачевская перестройка сказала на одном из бывших орнитологов, Джабраиле (он же – Жибриль) Базиеве из Нальчика. Он, тихо и спокойно изучавший горную орнитофауну в пределах Северного Кавказа, и написавший в 1978 году неплохую книгу о кавказских улах, вдруг вообразил себя не просто ученым широкого профиля, а великим физиком. На свои собственные деньги он в 1994 году издал в Москве тиражом 4 тысячи экземпляров объемистую книгу под шокирующим названием: «Основы единой теории физики. Принципиально новая теория физики на основе шестидесяти новейших фундаментальных открытий». Для того, чтобы по достоинству оценить это произведение, достаточно прочесть предисловие автора. Не могу удержаться, чтобы не привести его здесь почти полностью: «Эта книга сверхуникальна, ибо она представляет собой первый случай в мировой истории науки, когда в одном произведении залпом

дается описание десятков новейших фундаментальных открытий, каждое из которых по своему значению равносильно открытию периодической системы элементов Д.И. Менделеевым или превосходит его. Открытия, которые мне посчастливилось сделать и описанные здесь, позволили увидеть реальную картину физического мира, установить его истинные законы и принципы и заложить фундамент единой теории физики. Это полнейшая неожиданность для научной общественности мира, которой я желаю радости и восторга от чтения книги...»



На Конференции Европейского орнитологического союза в Польше.
Евгений Курочкин, Екатерина Фертикова, Ирина Савинич, Казимир Большаков,
Никита Чернецов, Владимир Паевский. Гданьск, 1999.



Там же. Лук Шифферли, Людвик Томялойч, Лукас Енни.

А ВЛАСТЬ ПРИЯТНЕЕ ВСЕГО?

Из телящика вестей
Сожрав помои пропаганды,
Тиранам новым всех мастей
Мы салютуем по команде.
Что толку совесть обсуждать,
Законы вечны: власть – от бога,
И сколько бы его ни ждать,
Рай на земле – мечта убогих.
И всё ж не знаю, чья вина
В тысячелетьях поколений,
Что власть приятнее вина
И всех известных наслаждений.

Принято считать, что в небольших обособленных коллективах каких-либо учреждений, тем более затерянных в глуши, часто возникают конфликтные ситуации и напряженные личные отношения, неизбежно вытекающие из-за психологической несовместимости людей, вынужденных общаться в течение всего времени суток, без всякой надежды на изменение обстановки. Казалось бы, это должно было в полной мере сказаться и на нашей небольшой группе специалистов весьма занимательной профессии, тем более на полевом стационаре «Фрингилла», угнездившемся в 11 км от ближайшего населенного пункта. С интересом оглядываясь сейчас назад, на весь долгий путь от зарождения нашего коллектива до его состояния в последние годы, я могу с некоторым удивлением для себя признать, что запомнившихся мне конфликтов и на научной, и на личной почве было значительно меньше, чем могло бы быть. Разумеется, хочется думать, что причиной этого, в первую очередь, явились факторы личностные, зависящие от особенностей характеров персон, случайно объединенных по профессиональным признакам. Другими словами, сложившаяся иерархическая система, по-видимому, устраивала ее участников на определенных этапах существования нашего маленького орнитологического сообщества.

Пишущему эти строки всегда трудно было понять всеобщее в человеческом обществе желание постоянно лезть вверх по иерархической лестнице, то есть то правило, которое выражается простой поговоркой о качестве солдата, не желающем стать генералом. Мне казалось, что хорошо освоившись на своей обжитой ступеньке, зная все ее плюсы и минусы, можно повседневно чувствовать себя более комфортно, и это тоже может быть целью жизни. Я, конечно, понимал, что в такой позиции проявляется некая трусость, страх ответственности, страх оказаться в трудной ситуации несоответствия собственных возможностей требованиям новой иерархической ступеньки (хотя, посмотрев вокруг, убеждаешься, что сидящих не на своих местах великое множество, без всяких «предупреждений о служебном несоответствии»). Как тут не вспомнить известный «Принцип

Питера» из «Законов Паркинсона», согласно которому человек взбирается вверх по служебной лестнице до тех пор, пока, наконец, не займет места, на котором его компетенции не хватает. Из этого, кстати, следует, что некомпетентность – явление глобальное. И хотя меня самого постепенно переносили с одной служебной ступеньки на другую, от работы препаратора в «столярантуре» до ведущего научного сотрудника, я знаю, что это происходило без каких-либо специальных телодвижений с моей стороны. Наоборот, я проявлял поведение, которое мои коллеги назвали странным – дважды за время работы на Биостанции публично отказался от директорской власти, которая шла, как они говорили, прямо в руки (после добровольного ухода Дольника и не добровольного ухода Бардина).

Существование в любом, даже весьма небольшом коллективе людей достаточно амбициозных и сильных характером всегда приводит или к их самовыпячиванию на руководящие позиции, или к конфликтам разной степени выраженности и разной продолжительности. Среди научных сотрудников нашей богоспасаемой Биостанции к таким личностям с явными признаками амбициозности безусловно относились все директора, последовательно сменившие друг друга: Лев Белопольский, Виктор Дольник, Александр Бардин и Казимир Большаков. И если между первым и вторым отношения всегда или почти всегда оставались если не безоблачными, то, во всяком случае, вполне благопристойными, а иногда и запанибратскими (несмотря на большую разницу в возрасте), то между вторым и третьим, третьим и четвертым отношения временами были в той степени развития, когда даже не очень наблюдательному человеку становилось очевидной тягостная напряженность внешне нормальных встреч, бесед и любых деловых контактов. К их чести, однако, такие отношения продолжались обычно недолго – новые обстоятельства диктовали и новые отношения.

Помимо менявшихся директоров, сходными чертами характера, но с некоторыми вариациями в сторону несдержанности своих эмоций в моменты обострения складывающейся не в их пользу ситуации, обладали и некоторые другие сотрудники, и прежде всего Ян Якшис и Андрей Меженный, работавшие на Биостанции в разное время и никогда не встречавшиеся. Ян Якшис, прославивший единственным изобретателем Рыбачинской ловушки, проработал на станции всего два года, и причиной такой удивительной для ученого кратковременности, несмотря на весьма яркое начало, явился конфликт с директором на почве спора о том, кто же лучше знает птиц в природе и, следовательно, достоин называться настоящим орнитологом. Свидетелем этого я не был, поскольку появился на косе вскоре после скандального ухода Якшиса, поставившего, по-видимому, последнюю точку в этом замечательном споре (замечательном не столько своими формами, когда, по рассказам, Якшис яростно столкнул Белопольского в только что вырытую яму для ловушечного столба, сколько своей забавной сутью). Когда в июле 1972 года Ян Якшис, узнав, что на Биостанции другой директор, приехал на Куршскую косу, среди нас ходили упорные слухи о возможности его зачисления в штат. Хватило, однако, нескольких дней, чтобы его необузданный характер вновь так же резко проявил себя, уже по отношению к Дольнику и к нам вообще («Назащищали тут диссертаций на моей ловушке!»), и стало совершенно ясно, что с изобретателем ловушки никто из

работающих на ней работать просто не сможет. В какой-то мере нам было жаль Якшиса: он так искренне, во всех мельчайших подробностях вспоминал все детали своих первых экскурсий на косе и попыток ловить птиц, что слушатели отчетливо понимали – это были единственно светлые дни в жизни этого уже немолодого и, видимо, совсем не типичного по характеру представителя своей спокойной прибалтийской страны.

Размеренная и относительно безмятежная жизнь Андрея Меженного на Двенадцатом (он ходил по ловушкам, поглаживая бороду и припевая свою любимую частушку «А нам хотели запретить по этой улице ходить, а стены каменны пробьем, по этой улице пройдем!») продолжалась недолго по сходной причине, что и у Якшиса. Сначала он вступил в какие-то конфликтные отношения с Белопольским, а потом и с Дольником, то есть именно с теми, кто обладал или властью, или авторитетом. По-видимому, так он был и создан – не выносил никакой указки своей гордо-независимой натуре. Несмотря на свою приверженность и явную приспособленность к тому образу жизни, который предоставлял в то время Двенадцатый, «стены каменны» он не пробил, а предпочел уволиться и искать своего сказочного «счастья без начальства» в другом месте.

В течение довольно долгого времени после ухода Меженного работа на Биостанции проходила относительно спокойно, без каких-либо ситуаций, которые можно было бы отнести к конфликтным. Передача власти от Льва Белопольского к Виктору Дольнику прошла просто и естественно, поскольку ни у кого не возникло каких-либо возражений. Единственное, что было по тем временам странно, заключалось в беспартийности Дольника, в которой, к нашему удовлетворению, он и остался, по крайней мере, до наших дней. Разумеется, Льва Белопольского, перешедшего в 1967 году на преподавательскую, а затем и профессорскую должность в Калининградский университет, подмывало острое желание увидеть какие-нибудь отрицательные стороны в работе нового директора, дабы оттенить свою прошлую деятельность еще большими успехами в глазах окружающих. Неудивительно поэтому, что Игорь Хотеновский, встретив однажды меня на набережной Невы возле ЗИН'а, стал с участливым и обеспокоенным лицом расспрашивать меня о жизни в Рыбачьем, приговаривая: «Трудно, наверно, сейчас там... Директор молодой, неопытный... Но вы сразу же обращайтесь ко мне, мы тут разберемся». По-видимому, своим недоуменным видом и пожатием плеч я очень разочаровал и его, и Белопольского.

За долгое время директорства Дольника (с 1967 по 1989 год) его личная и административная власть претерпевала разные формы по отношению к своим подчиненным, занимающимся тем, ради чего, видимо, и существовала Биостанция. Некоторые из бывших «второсортных» сотрудников, занимавшихся, по мнению директора, не самой прогрессивной наукой, постепенно превращались в передовиков, а новые сотрудники, появившиеся в штате, не без давления сверху сразу же распределялись по своим шатким и скрипящим иерархическим ступенькам. Наиболее ярко подобные флуктуации нашли в превратностях судьбы Леонида Соколова. Его способность к последовательному логическому осмыслению наиболее перспективных и малоизученных научных направлений была, по-видимому, по достоинству оценена директором. Следует заметить, что эта способность несколько контрастировала с нежеланием пользоваться

новой методикой демографических расчетов, принятой во всем мире, и, по-видимому, не из-за каких-то принципиальных разногласий, а вследствие ее сложности для восприятия обычным, хоть и находящимся в постоянной готовности умом русского орнитолога. Вскоре Лёничка на какое-то время стал, наряду с Дольником, основным толкователем всех результатов кольцевания птиц. Его явно и неявно ставили в пример тем «старым пням», которые, просидев полжизни при ловушках, так и не поняли, что же они там делают.

Однако этот административно-творческий союз продолжался недолго, и причиной его разрыва в 1980 году стало предположительное желание некоторых сотрудников, а именно Яблонкевича и Лёнички, вырваться из подчинения и, возможно, оказаться самому на той ступеньке, с которой так легко «водить рукой», то есть стать во главе хоть и маленького, но всё же учреждения. Занятый в то время написанием монографии, я не очень-то следил за тем, что происходит вокруг, а тем более за всеми этапами этой подковерной суеты, хотя изредка и до меня доходили отдельные шорохи и сдавленные всхлипы. Только по выражению глаз Дольника я понимал всю серьезность его обеспокоенности. Я, однако, совершенно не хотел быть втянутым во всю эту возню и старался делать вид, что ничего не знаю (да и действительно толком ничего не знал – я только чувствовал необычность ситуации по отдельным нехарактерным для нашей Биостанции признакам поведения сотрудников). Вся эта история теперь с улыбкой (правда, несколько вымученной) вспоминается коллегами как якобы история несуществовавшего «заговора» свержения директора, и даже с элементами более глобального «всемирного еврейского заговора», поскольку один из «заговорщиков» теоретически мог руководствоваться и этим. По прошествии двадцати лет могу, тем не менее, сказать, что поскольку мои ощущения истинного характера поведения людей никогда меня не обманывали, то и тогда, видимо, этого тревожного дымка не было бы без хотя бы небольшого костерка властолюбия (не имевшего, разумеется, никакой связи с национальными мотивами). Находясь и тогда, и сейчас в прекрасных отношениях со всеми тремя участниками этой якобы надуманной драмы, я могу лишь выразить свое удивление их относительно быстрым примирением. Ведь тогда казалось, что эти события негативно и навсегда сказались на судьбе Леонида Соколова – защита его кандидатской диссертации при уже напечатанном автореферате была беспрецедентно отменена самим руководителем – Дольником под благовидным, но явно наспех надуманным научным предлогом. Однако спустя три года та же самая диссертация с тем же руководителем была благополучно защищена, а спустя еще десять лет Леонид Соколов защитил и докторскую диссертацию на ту же «филопатрическую» тему.

Одним из самых неожиданных явлений во всей суете, связанной с властью и ее обретением, оказалось неожиданное оставление Виктором Дольником его директорского поста по собственной воле. Разумеется, это решение обросло многочисленными слухами и праздными домыслами сотрудников – от самых обычных до самых экзотических. Кто-то уверял, что наш директор получил предложение занять место замдиректора Зоологического института, другие считали, что рамки маленькой биостанции уже не могут удовлетворять крупного ученого, способного масштабно руководить наукой, и, наконец, некоторые утверждали, что Дольника пригласили на очень высокий

пост в Москве. Как оказалось впоследствии, ни один из этих предполагаемых шагов не осуществился, хотя, возможно, негласно что-то в этом плане и намечалось. Как бы там ни было, но пришло время, а это был 1989 год, когда сотрудникам Биостанции нужно было, в соответствии с тогдашним разгулом нарождающейся демократии, выбрать нового директора. Разговоров и всяческих обсуждений, как открытых, так и негласных, среди нас было, конечно, предостаточно. Мне пришлось сразу же занять твердую позицию отказа от этой должности, несмотря на то, что в то время, кроме Дольника, только у меня была степень доктора наук. Отказывался я по причине хорошо осознаваемой невозможности руководить одновременно и научными, и хозяйственными делами. Много раз мне приходилось временно замещать Дольника во время его отсутствия, и тогда пришло четкое понимание, что в отличие от проблем сугубо научных, вся эта бесконечная хозяйственно-административная и финансовая волокита угнетает меня, и часто остается непонятно-чуждой. Именно это я и говорил всем тем сотрудникам, кто желал проголосовать за меня, и в том числе Соколову, за которого агитировал сам и которого в то время считал вполне способным, как в научном, так и в хозяйственном плане, руководить нашим разношерстным сборищем. Могу также сказать, что в отношении чисто человеческих качеств моего кандидата я тогда вспоминал случай, произошедший в нашей парилке, когда Соколов с целью вывести блох у взятого им рыженького котенка так долго его парил, что бедное животное не выдержало и скончалось на руках у хозяина. Именно тогда я впервые увидел Лёнечку в состоянии настоящего горя, безудержно плачущим. Для меня это было и ошеломившим откровением, и ярким признанием особых, важных для меня качеств, которых я никогда не видел у других коллег.

Сам процесс выборов проходил в ускоренном танцевальном темпе, хотя кандидатур было выдвинуто едва ли не больше, чем весь состав Биостанции. Когда среди других кандидатур всё же была выдвинута и моя, я заявил, что беру самоотвод. Однако председательствующий на собрании Дольник неожиданно и без всякого объяснения заявил, что никакие самоотводы невозможны (такая вот у нас была зоологическая демократия). Наибольшее число голосов получил Александр Бардин, который и стал нашим директором Биостанции на следующие три года. Столь непродолжительный срок директорства, после яркого и эффектного начала (а Бардин своим доброжелательством нравился всем) был вызван постепенно приходящим пониманием, что методы его хозяйственной деятельности приведут к неминуемому краху. Всей этой ежедневной хозяйственной суетливой активностью практически ведал наш тогдашний шофер, с явным характером лидера, которому директор отдал практически все бразды хозяйственного управления.

И тогда, в августе 1992 года, на Александра Бардина, на его умную и всегда радостно-приветливую, но несколько наивную голову, свалился такой бесконечный град остро колющих шишек со стороны разных сотрудников, что ситуация несомненно требовала своего разрешения. В результате, по инициативе трех сотрудников, Валентиной Дьяченко был составлен документ, адресованный дирекции и Ученому совету ЗИН'а, в котором, как это явствует из копии, почему-то сохранившейся среди моих зиновских бумаг, шесть научных сотрудников выражали недоверие действующему директору и просили освободить его от занимаемой должности «в связи с тем, что

его деятельность...приводит к разрушению научной и хозяйственной жизни станции» (я подписал его уже в Питере, где тогда находился, хотя и сомневался, нужно ли там упоминать, кроме хозяйственного, и научный аспект).

Весьма настороженное обсуждение этого документа проходило в кабинете директора института Ореста Скарлато, где помимо самого директора, был тогдашний его заместитель Александр Алимов и трое из «подписантов» – Казимир Большаков, Леонид Соколов и автор этих строк. После непродолжительного разговора о станционных проблемах Скарлато предложил каждому из нас высказаться о возможности заменить ныне действующего директора Биостанции. В то время я продолжал быть единственным среди коллектива доктором наук, и по пристальному взгляду Скарлато понял, что должен ответить первым. Мне оставалось лишь повторить то, что я говорил всем ранее, при выборах директора станции – о моей неспособности к административно-хозяйственной деятельности, тем более в новых экономических условиях. И вот тогда на обычно бесстрастном лице Ореста Скарлато я впервые увидел искорки неподдельного удивления – по-видимому, в его практике это был первый случай, когда люди отказываются от предлагаемой власти. Вторым высказался Соколов, в его ответе прозвучали нотки возможной попытки (несмотря на осознаваемую трудность работы в современных условиях) занять эту должность, и только ответ Большакова был определенно положительным, с четким объяснением того, что у него есть собственная концепция дальнейшего развития Биостанции.

Став директором, Казимир Большаков действительно стал проводить свою, особую линию во многих аспектах нашей орнитологической деятельности и всего образа жизни на Биостанции. Оказалось, что он способен именно к совмещению как научного, так и чисто хозяйственного управления, хотя и не всем сразу пришлось по душе новые, более жесткие позиции всех сторон его директорской власти. Положительными, безусловно принимаемыми всеми были те моменты деятельности, которые связаны со всем спектром спонсорской помощи Биостанции, исходящей из взявшихся опекать нас научных и природоохранных фондов Германии. Для всех совершенно очевидно, что без этой активной опеки, выражающейся в годовых суммах, доходящих до ста тысяч их денежных единиц, вряд ли была бы возможность сохранить нашу полноценную научную деятельность.

Возвращаясь к общим проблемам власти у *Homo sapiens*, представляется уместным заметить, что даже в пределах такого небольшого коллектива, как сотрудники нашей популярной Биостанции, можно обнаружить все характерные черты человеческого общества. Мне кажется несомненным, что генетически заложенное в индивидууме стремление к лидерству, при затруднениях в его реализации, может приводить к стрессам и болезням. Я неоднократно убеждался в этом на примерах своих коллег. Однако к еще большему стрессу, видимо, приводит и обратное – волею судеб вознесение низкорангового существа на верхнюю ступень иерархии, где оно пребывает в постоянных сомнениях и неуверенности и, в результате, оказывается совершенно несостоятельным. Лишь человек, вполне осознающий это, может проявить поведение самосохранения.

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ

Ласка глаз и атласы кожи
Притягательны как магнит,
С пьяной жаждой невинно схожа,
Страсть занозой во мне сидит.
Я бегу по ухабам чувства
В пламенеющий горизонт,
А вдогонку вопит стоусто
Мыслей-стражников гарнизон.
Я залью их стаканом водки,
Я спляшу на столе канкан,
И восторг на любовной лодке
Понесет меня в океан...

Преимущества одиночества, хотя бы временного, неоспоримы для творческих личностей. Для многих из них пребывание наедине с самим собой – единственная возможность не только проникнуть в суть волнующих их проблем, но и сформулировать это понимание в простой форме, доступной восприятию других. И всё же длительное одиночество для такого социального вида, как человек, ведет к несомненной деградации. Но самый мучительный вид одиночества – одиночество в общежитии, когда находясь постоянно среди себе подобных, ни мозг, ни сердце никак не могут ощутить этого тщетно разыскиваемого подобия.

То же самое можно сказать и о всей сфере сексуальных интересов *Homo sapiens*. Даже находясь в возрасте расцвета и избытка сексуальной энергии, и в рамках разрешенных, по канонам общества, способов ее высвобождения, любой человек, как правило, испытывает всю гамму чувств, в которых причудливо переплетаются и тип его нервной системы, и индивидуальные особенности физиологии, и социальный статус, и культурный уровень, и иногда отвратительно пахнущая отрыжка его детских лет.

Находясь долгие месяцы в отрыве от своих жен, а некоторые – и лишившись их по причине длительной с ними разлуки, наши куршские орнитологи мужского пола при этом часто были плотно окружены целым хороводом студенток – женщин молодых, с неистово раздражающими формами упругого тела, с волнующими интонациями доверчивого голоса, с возбуждающей манерой девической походки и со всеми остальными женскими атрибутами. Стоит ли говорить о наших мужских переживаниях, в которых едва ли не основную их часть составляли далеко не только физические мучения, и стоит ли осуждать кого-либо, находящегося в полном обалдении «под сенью девушек в цвету»? Заменяя общением с ними нерастраченные еще устремления к идеалам, мы хорошо понимали, что все суррогаты похожи лишь на вспышку зажженной спички, после которой темнота еще больше сгущается.



Женщина-вамп Наталья Егоркина и ее очередная жертва – пока еще беспечный автор этих строк. Рыбачий, Рыцарский зал, 1974. Фото Д. Люлеевой.

Как всегда бывает в любом коллективе, так и среди студенток всегда находились отдельные выдающиеся личности (по чисто женским качествам), к которым тянулись почти все, даже самые суровые и стойкие мужские характеры. В семидесятые годы такой выбивающейся из общего ряда особью явилась девушка со стандартным именем Наталья и с незатейливой русской фамилией Егоркина. Кроме роскошного молодого тела со всеми классическими пропорциями, часто облаченного в одежду ярких цветов, и симпатичной мордашки, она обладала и наивысшей формой женского завлекающего поведения, когда внимательными и заинтересованными глазами с ласково-вызывающей полуулыбкой она давала явные авансы любому, на кого обращала свой благосклонный взгляд. Взгляд же свой она преимущественно останавливала на сотрудниках, обладающих властью или учеными степенями. Будучи студенткой Белопольского и обращаясь с ним, как с добрым «папашкой», она регулярно появлялась и в Рыбачьем, и на Двенадцатом, начиная с 1971 года, и за последующие несколько лет сумела совратить по крайней мере четырех сотрудников Биостанции, начиная с самого верха. Эта легко обнаруживаемая связь, естественно, достигала ушей, иногда глаз, а иногда даже других частей тела «объегоренных» жен, что отнюдь не способствовало спокойствию и миру в нашем небольшом коллективе. К всеобщему счастью, ситуаций типа «шерше ля фам», то есть прямых столкновений между очередными жертвами этой женщины-вампа, за исключением одного незначительного инцидента, не происходило.

Кроме этих событий, в которых было больше вульгарного секса, нежели далеко идущих целей, на нашей богоспасаемой Биостанции было еще два случая слишком активного поведения студенток,

четкой задачей которых был увод женатого сотрудника от законной супруги. Хотя, в отличие от вышеописанной «Егоркиной в красных штанах», эти особы не отличались столь привлекательными внешними данными, их настойчивости в достижении поставленной цели можно бы и позавидовать. В одном из этих случаев, с Сергеем Ильиным, цель была достигнута сравнительно легко, чему безусловно, способствовали особенности его податливого характера. В другом же случае намеченная очень крупная жертва, Виктор Дольник, сумел устоять, в чем, конечно, была и героическая заслуга Татьяны Дольник. В этой связи вспоминается и еще один замечательный пример с Дольником, когда одна из поклонниц его ума и таланта, некая Татьяна Воробьева, вдруг стала претендовать на нечто большее, чем роль консультируемой ученицы. Познакомившись с Дольником во время очередного всесоюзного совещания «Вид и его продуктивность в ареале», проходившего в 1984 году в Свердловске, и обладая некоторыми странностями характера, отягощенными непомерными потугами в науке, она неоднократно приезжала к Дольнику домой, где, всячески игнорируя присутствующую здесь же законную супругу, пыталась добиться дружеского расположения, мало связанного с научными проблемами в области энергетики птиц, которой она тогда увлекалась. Рассказывая нам об этом, Виктор явно был немного взбудоражен – по-видимому, такое настырное поведение молодой женщины, даже не обладающей стандартным набором особой женственности, заставляет как-то по-другому взглянуть на самого себя.

В самом здании Биостанции в Рыбачьем такое изобилие студенток, как на Двенадцатом, случалось значительно реже, и в основном было связано с циклом лекций по экологии птиц, которые Виктор Дольник читал специально привозимым группам тут же, не покидая своего рабочего места. Несмотря на мелькающих иногда девушек, появившийся в эти годы в штате Лёничка Соколов, оценивая жизнь на Биостанции, своим размеренным, рассуждающим и громким голосом постоянно сравнивал хорошие, по его мнению, условия для научной работы, и плохие – для личной жизни. Его непрекращающиеся публичные сетования на отсутствие женщин вызывали у мужской части коллектива иронический смехок, а у женской - явное раздражение, что особенно проявлялось в неприязненно-тоскливых взглядах свободной в то время Вали Дьяченко при каждом соколовском упоминании о дефиците женщин.

К чести нашего маленького, но весьма разнообразного по составу коллектива следует отнести полное отсутствие явных адюльтеров в нашей же, сугубо внутренней среде. Разумеется, некоторые сотрудники мужского пола обращали внимание на жен своих коллег не только по служебной необходимости, и в ряде случаев это внимание было совершенно зримым как для самого объекта внимания, так и для всех окружающих. Тем не менее поведение наших замужних сотрудниц никогда нельзя было назвать ни провоцирующим, ни тем более свободным. Наибольшего внимания удостоивалась, конечно же, самая обаятельная из них, находившаяся на самом вершине нашей, по типу обезьян, иерархии, и, по общему мнению, по крайней мере двум ее коллегам потребовалось, видимо, немалое мужество подавить в себе взрывоопасную потребность ощутить ответное внимание. К очевидному счастью для коллектива, на этой сугубо личной почве не произросло никакой сорной травы.

Несмотря на частое присутствие студенток, как наиболее провоцирующую причину супружеских разводов, кажется удивительным, что из восьми разводов, случившихся у сотрудников Биостанции, только два были непосредственно вызваны этим обстоятельством. В остальных случаях инициаторами разводов были или слишком независимые жены, наконец-то обнаружившие на своем пути настоящих мужчин по сравнению с вечно прозябающими где-то в лесной глуши любителями птичек, или же слишком независимые мужья, просто решившие таким образом обновить свою надоевшую им жизнь. Наибольшей кульминации бракоразводные процессы или просто осложнения в супружеской жизни у сотрудников Биостанции почему-то достигли в середине и конце восьмидесятых годов: Ильин, Соколов, Паевский, Люлеев и отчасти Яблонкевич, а впоследствии и Марковец, именно в эти годы разом озаботились не научными, а сугубо личными проблемами, и хотя причины и сам ход разрешения этих проблем были весьма индивидуальными, некая нервозность и томительное ожидание перемен сказывалось на работе почти всего коллектива. Результаты же привели постепенно и к переменам штатного состава. Оказалось, что изменения в семейной жизни коренным образом могут сказаться на жизни научной. Разводы и психологическая невозможность после этого работать бок о бок в наших весьма специфических условиях, временами напоминающих безобразно унижающую человеческое достоинство толкотню на советских коммунальных кухнях, приводили к поискам новых мест работы в родных столицах и родных учреждениях. Именно так навсегда исчезли из нашего штата и Татьяна Блюменталь, и Татьяна Ильина, и Валентин Люлеев. Флуктуации же взаимоотношений супругов Соколовых, широко известные благодаря горестно-рассудительным откровениям покинутого Лёнечки, достойны романа. Они были основаны на весьма специфическом характере эмоционально взрывающейся красавицы Татьяны, всегда привлекающей внимание практически всех мужчин. В конце концов это привело к тому, что она покинула не только идеального мужа, который полностью освобождал ее от всех домашних забот, и замечательный, идеальный для нее Зоологический институт, в который она попала только из-за замужества с Лёней, но и вообще Россию (видимо, не столь идеальную), сменив ее на обойденный культурой американский штат Канзас, где в браке со столь же взрывоопасным потомком выходцев с Пиренейского полуострова воспитывает свою вторую дочь.

Наблюдая за суетной жизнью и непритязательным бытом новых молодых сотрудников нашей знаменитой Биостанции, я постепенно пришел к утешительному для себя выводу, что несмотря на новые времена и новые условия жизни нашей страны, всё, что можно отнести к вечным проблемам взаимоотношений полов, осталось, конечно же, совершенно неизменным.

РОДНЫЕ ПРУССКИЕ ПРОСТОРЫ

В который раз лечу в Рыбачий,
На перелетную косу,
В который раз моя удача
Отмерит жизни полосу.
Объятый новой жаждой лета,
Я все приму и все прощу,
И в старом – нового приметы,
А в новом – прошлое ищу.

* * *

В краю курортном, среди гама,
Средь переменчивых гостей
Тоски невидимые шрамы
Меня пронзают до костей.
Здесь всё обычно: кольца, птицы,
Восторг толпы, пожатые рук,
И разномастных немцев лица,
И благодарных марок стук.
И я пред ними, как на сцене,
Где в роли жалкого шута
Сгибаю преданно колени
И радостно кривлю уста.

Необъятные и безлюдные песчаные пляжи, сосновые леса с земляничными полянами и смородиновыми опушками, берега, устланные остро пахнущими водорослями и скрывающимся в них янтарем, и бесконечные морские просторы, куда ни обратишь свой восхищенный взгляд с вершины бесконечно тянущихся вдаль желтовато-дымчатых дюн – разве можно было устоять от этого соблазна и не приезжать сюда снова и снова? И неуклонно разраставшиеся семьи наших сотрудников, и сотрудники ЗИН'а со всеми чадами и домочадцами, и наши коллеги и знакомые, хоть раз посетившие гостеприимные куршские просторы, с каждым приходом лета неизменно стремились вновь провести хотя бы неделю под привычными уже крышами Биостанции.

Всех когда-либо приезжавших на Биостанцию, а число всяческих визитеров до девяностых годов исчислялось сотнями, а потом, в связи с развитием специальных туров из Германии, многими тысячами, можно разделить на несколько категорий: свои сотрудники из Зоологического института, сторонние орнитологи и другие специалисты, а также студенты (о студентах уже рассказано ранее), и, наконец, просто туристы и всякие корреспонденты, журналисты и писатели.

Диапазон ранга визитеров был воистину необъятен: от первоклассников местных школ до людей всемирно известных, например, таких писателей, как Андрей Битов, космонавтов, таких как Алексей Леонов, или людей поп-искусства, таких как София Ротару и Филипп Киркоров (последний снимался на дюнах в очередном клипе). Самое при этом примечательное, что у всех этих столь разных личностей первая реакция на демонстрацию им пойманных птиц была очень сходной: уменьшительно-ласкательные словечки с сюсюкающими интонациями, попытки дотронуться пальцем до клюва или погладить птицу, и чаще всего совершенно нелепые вопросы о нашей деятельности. Космонавт Леонов, слишком тепло принятый перед этим на турбазе «Дюны», даже не вышел из машины, которая въехала почти в ворота «первой» ловушки, и мне пришлось показывать птичек его космическому напарнику Беляеву. Сопровождавшие его крепкие молодые люди в черных костюмах, дыша мне в ухо винным перегаром, яростно шептали: «Подари чучело птички, подари чучело!»

После долгих перестроечных лет количество охраны у всяких персон VIP, посещавших Двенадцатый, как нам показалось, уменьшилось. Во всяком случае, их было не так много и у «плачущего большевика» Николая Рыжкова, который сетовал Лёнечке на неразрешимую проблему ворон в Кремле, не дающих из-за своего мерзкого крика сосредоточиться на важных государственных решениях, и у председателя Центробанка Виктора Геращенко, захавшего на Двенадцатый со всей семьей, пренебрежительно-ласково называвшего свой банк «мой баньчок». А у депутата Госдумы, председателя экологического комитета Тамары Злотниковой, охраны вообще не было.

Среди корреспондентского племени к нам чаще всего попадали типажи людей прожженных, закаленных в словесных и редакционных боях, прошедшие суровые будни бездорожья, попутных машин, дешевых гостиниц и указующих перстов секретарей райкомов. Впрочем, до теперешних молодых волчат, хватающих намеченную жертву даже за пятки, им было далеко. Некоторые из этих корреспондентов наведывались на Двенадцатый неоднократно, и можно сказать, примелькались (например, собкор Гостелерадио СССР Станислав Чекалин, до сих пор вещающий по «Маяку» и появляющийся иногда на телеэкране). Помимо частых журналистов из местной калининградской прессы, у нас отметились (а мы, разумеется, были «отмечены» в их изданиях) почти все центральные газеты и журналы, включая даже «Крокодил» и «Советская женщина». Дважды, в октябре 1980 и в сентябре 1981 года, посетил нас и широко известный Василий Песков, делавший со своей группой съемки для передачи «В мире животных». Киносъемок всяческих было очень много: и «Говорит и показывает Москва» – съемки для американского телевидения в 1974 году, и съемки фильма об ориентации животных киевской студией научно-популярных фильмов, и киногруппа из «Казахфильма» для съемок фильма об ориентации и миграциях птиц, и регулярные съемки для разного типа новостей. Калининградское телевидение несколько раз делало специальную программу о Биостанции и о Куршской косе.

Андрей Вознесенский о своем посещении Куршской косы оставил стихотворение «Нидская биостанция», где, не заботясь о точности (как и положено поэтам), поместил Биостанцию в Ниду, а

журавлей – в наши ловушки. Наталья Виноградова, случайно встретившаяся с ним на косе в августе 1967 года, поняла, что он знает об этой неточности, но, естественно, не придает этому никакого значения. Но это – образ поэтический, и было бы наивно требовать иного. Однако частое общение с журналистами, претендующими на достоверность, привело нас к неутешительному выводу о качестве информации, которая ежедневно вталкивается в наши наивные обывательские головы. По-видимому, журналисты всегда считают, что они умнее, или уж во всяком случае, интеллигентнее и культурнее человека, у которого они берут интервью. Они расцвечивают свои репортажи и эссе такими перлами из дешевых стекляшек, которыми в пору украшать туземцев на тех островах, где до сих пор не ступала нога даже Миклухи-Маклая. Количество ошибок, ляпов и биологических несуразиц в той части публикаций, которые мне довелось о нас прочитать, было настолько велико, что до меня вдруг дошла простая мысль: каждый специалист ежедневно видит то же самое в своей области знаний, а это означает, что всё, что мы читаем в прессе, едва ли наполовину можно считать отражающим реальное положение дел. Единственным, пожалуй, исключением явились публикации двух вдумчивых журналистов из журнала «Знание-сила», Татьяны Чеховской и Карла Левитина, с которыми у нас, а особенно у Виктора Дольника, сложились особые, дружеские отношения.

Многие из приезжающих биологов, особенно зиновцы из других лабораторий, столь регулярно появлялись на Куршской косе, что местные жители тоже стали называть их «птичниками», как чисто по-русски окрестили они орнитологов с самых первых дней работы Биостанции. В разное время на Биостанции побывали, по большей части кратковременно, очень многие сотрудники Зоологического института. Среди энтомологов были и Олег Крыжановский, и Вадим Зайцев, и Изыслав Кержнер, и Александр Емельянов, а также Елена Виноградова, Эвелина Данциг, Владимир Тряпицын, Светлана Андреева. Приезжали неоднократно и другие сотрудники института: Юрий Мамкаев, Николай Аладин, Сергей Подлипаев, Игорь Смирнов, Тамара Асанович, Валентина Белова, Александр Комендантов.

В шестидесятые годы на Двенадцатом часто бывал профессор Ленинградского университета Андрей Ниценко, любимец многих студентов и выпускников университета, отличавшийся необыкновенным дружелюбием к талантливым молодым людям. Загорелая худощавая фигура Ниценко, который первым сделал подробное описание растительности Куршской косы на русском языке, в летние месяцы была характерным признаком приморских дюн.

Помимо уже упоминавшихся ранее многочисленных гидробиологов, интенсивно работавших в заливе в шестидесятые и семидесятые годы, среди постоянных летних гостей в последующие десятилетия были в первую очередь закадычные друзья директора Биостанции Виктора Дольника, зиновские профессора: и всегда оживленно-доброжелательный рассказчик забавных историй Владислав Хлебович, и громко, серьезно и академически-размеренно вещающий обо всем Ярослав Старобогатов со своей всегда находящейся рядом супругой «Кисушей», и постепенно примкнувший к этой компании, всегда оптимистически-молодо выглядящий Мстислав Крылов с веселыми глазами, нацеленными на хорошеньких девушек, приезжавший со своей постоянной спутницей-сотрудницей Ларисой Беловой, неизменно задерживающей на себе взгляды всей мужской части общества.

Постоянными летними гостями была и семья Веры Никольской – ученого секретаря ЗИН’а, должность, которую в данном случае хочется назвать «непременным секретарем», поскольку Никольская провела в этом кресле рекордно долгий срок, забросив собственное творчество и занимаясь исключительно возней с деловыми бумагами. С волевым, «деловым» характером, Никольская и в обычной бытовой обстановке проявляла себя столь же административно, решительно управляя и своей внучкой, и своим мужем Игорем Селецким, которого хорошо знали все сотрудники ЗИН’а, поскольку он почему-то обязательно присутствовал на всех послезащитных банкетах (упомяну также, в качестве еще одного примера тесноты нашего мира, что у этого Игоря Селецкого, сотрудника Политехнического института, работал один мой школьный приятель, Ростислав Левашов, прославившийся тем, что попытался удрать за границу вплавь в самом опасном для этого предприятия месте, с точки зрения пограничного контроля, – морской границе с Турцией).

Регулярно появлялась и сотрудница нашего института Марина Долголенко, крупная дама с нарочито-броской, а иногда и экстравагантной манерой общения и со своим не терпящим возражения зычным голосом (скрывающая, однако, под этой маской свою ранимую и тонкую натуру, склонную к высоким формам искусства). Одно время в своей питерской квартире Марина регулярно собирала зимой всех дружественных ей рыбацинцев и их постоянных летних институтских гостей, называя эти дружеские посиделки, конечно же, «Днем птиц».

Семья нынешнего директора ЗИН’а, академика Александра Алимова стала более регулярно появляться в Рыбачьем только в последние годы, хотя сам Алимов был еще среди самых первых гидробиологов института, работавших в Куршском заливе. Довольно редко общаясь с Алимовым на протяжении всех этих лет, и ранее считая его лишь типичным советским специалистом карьерного толка, я со временем узнал о двух его увлечениях, совершенно поразивших меня, – о птицах, которых он постоянно держал дома, причем не каких-нибудь обычных чижигов, а черноголовков, канареечных вьюрков, москочков и тому подобных не совсем легких для содержания видов, и о его таланте художника с достаточно тонким восприятием пейзажа (сужу, по крайней мере, по той пленэрной живописи с видами Куршской косы, которую мне удалось увидеть).

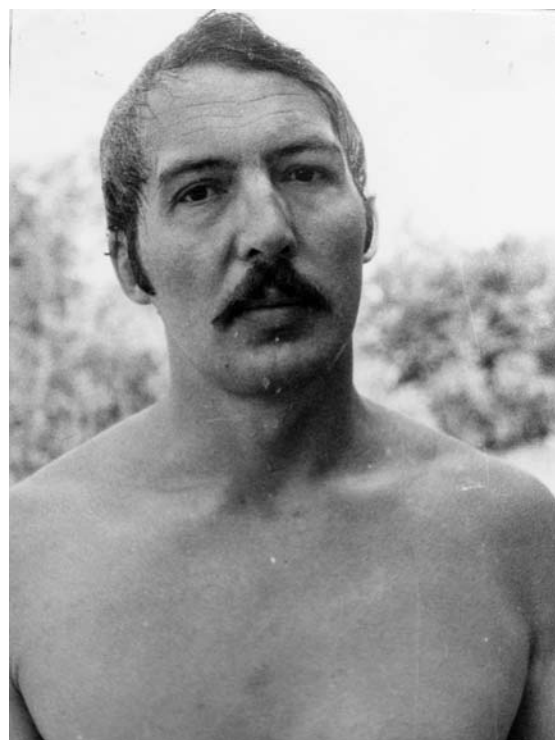
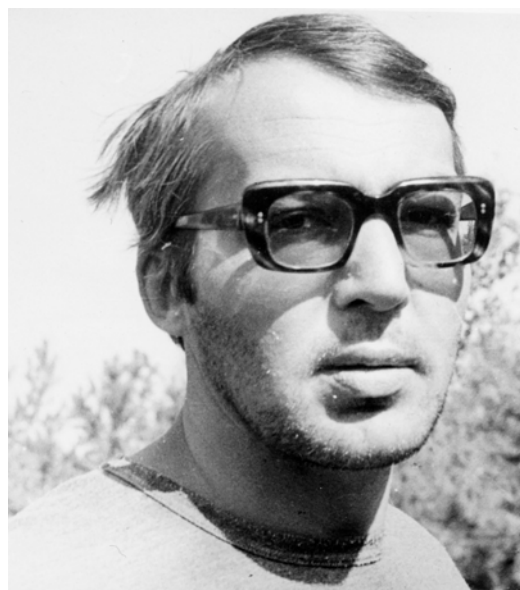
Среди летних гостей, неоднократно посещавших полюбившуюся им косу, были и руководители других, широко известных в нашей среде институтов. Дмитрий Осипов, директор Биологического НИИ Петербургского университета, мой бывший сокурсник, впервые посетив в семидесятые годы Биостанцию со своей оживленно-политизированной женой Татьяной, настолько влюбился в куршские дюны и пустынные пляжи, что считал их наилучшим местом для отдыха. Проносясь, как лось, через кусты и сосны своим атлетически натренированным телом с длинными мускулистыми ногами, он многократно исходил Куршскую косу вдоль и поперек, начисто забывая, как он сам признавался, обо всех делах и заботах. Иногда Осиповы приезжали всей семьей, со своей дочкой Надей (с чертами лица какой-то особой, космической красоты), которая ныне, как это теперь часто случается, давно стала американской гражданкой. В США теперь навсегда осели и дети других персонажей этой книжки: и сын Мстислава Крылова, ярого русского патриота, и сын Юрия Морозова, скорее космополита, и дочь Роальда Потапова. Гражданами Израиля стали и дочь

Эдуарда Фомина, и дочь Боба Васильева, нередко залихватски резвившаяся на наших прусских просторах.

Неоднократно посещал Биостанцию в летнее время, начиная с июня 1980 года, и Леонид Татаринов, директор Палеонтологического института, которому я, терзаемый какими-то сомнениями, обязан советом долго не раздумывать, а защищать докторскую диссертацию по опубликованной книге. Эстафету отца в регулярных визитах на косу охотно приняла его дочь Мария с семьей, всегда очень загорелая миниатюрная женщина, одна из наиболее дружественных Лёнечке Соколову.

Среди постоянных наших гостей на Двенадцатом в течение нескольких летних сезонов, до 1976 года, был и Андрей Битов, ныне ставший одним из самых известных российских писателей. Впервые он появился в августе 1969 года со своей второй супругой Ольгой Шамборант, приезжавшей к нам ранее, сотрудницей знаменитого московского Института химии природных соединений. Занимая разные помещения, от чердака до моего «панского» домика, он творил там свои ставшие современной классикой романы, включая «Пушкинский дом», и осчастливливал нас возможностью читать всё это в рукописи. Несколько раз я пытался объяснить ему, почему мне очень нравятся его ранние рассказы, такие, как «Пенелопа», «Дверь», «Сад» и совсем не производят впечатления его текущая проза, излишне, на мой взгляд, усложненная и очень трудная для восприятия. На мой взгляд, взаимоотношения автора с собственными героями укладываются в простейшую схему: мысли и поступки героев есть способ самовыражения автора в наиболее удобной для него форме, и огромное напряжение, затрачиваемое писателем, предстает прежде всего как трудное осознание самого себя в окружающем мире. Отсюда следует, что у умного автора, как правило, не бывает глупых героев – они ему просто неинтересны, а на самом деле жизнь вокруг гораздо проще, чем попытки писателя и понять, и рассказать о своем понимании. Однако и убедить Битова, и даже беседовать с ним было очень нелегко – его философски-образная манера мыслить, в неизменной форме входящая в его прозу, с трудом воспринимается в обычном разговоре. Впоследствии самое неожиданное оказалось в том, что Битов не утерпел и написал «Птицы, или новые сведения о человеке», где в своей обычной манере рассказал о поразивших его законах этологии на основе разговоров с Дольником, перемежая это размышлениями о нашем образе жизни и о птицах. Любопытно, что первая версия этого произведения была им предложена журналу «Аврора», а рукопись была прислана журналом на отзыв директору нашего института Оресту Скарлато. Судя по рассказу Дольника, Скарлато долго недоумевал, пытаясь читать рукопись, и в конце концов сказал, что это читать невозможно, тем более что произведение вовсе не имеет отношения к зоологии и к институту.

В те годы Андрей Битов очень чутко относился ко всем читательским высказываниям о своем творчестве, и когда я признался ему, что в отличие от его теперешней прозы, мне очень нравятся его стихи (а он давал нам читать кое-что из своих поэтических вещей, многие из которых никогда, кажется, не были опубликованы), он стал одаривать меня своим стихами, а в дарственной надписи на книжке «Образ жизни», вышедшей в 1972 году, написал: «В оправдание этой прозы скажу, что образ жизни автора ей всё-таки соответствует, а поэзия – всё-таки нет». Обессмертив наш полевой стационар, Битов увековечил и мой «панский» домик, где прожил несколько сезонов, когда я уезжал



Андрей Битов не чурался объектива – видимо, сознавал, насколько ценными станут его изображения. Двенадцатый, 1971 (без усов) и 1972 (с усами). Фото автора.

в отпуск. Вернувшись однажды в 1974 году, я нашел на столе записку: «Дорогой Пан! Спасибо за приют (в который раз!). Я здесь наконец дописал «Лес», стихи из которого ты знаешь. Привет от Оли. 22.8. Андрей. P.S. Не подмели из предрассудков. Ты знаешь на своем опыте, что у меня, в данном случае, могут быть основания: мы – на машине».

Действительно, я хорошо знал на опыте его опасения. Опыт этот мы приобрели в августе 1969 года, когда вчетвером, Андрей с Ольгой и я с Еленой пустились в дальний путь с Двенадцатого в Ленинград, через всю разноязычную Прибалтику на битовских «Жигулях». Водительский стаж у Битова был уже не маленький, и продвигались мы довольно резво, пока не проехали Шауляй. Моросил мельчайший дождик, и видимость оставляла желать лучшего. В один из далеко не прекрасных моментов Битов пошел на совершенно не нужный обгон какой-то колываги, но уже в третий ряд, и неожиданно перед нами, удивленными и не способными еще что-либо понять, возник стремительно несущийся прямо на нас огромный грузовик. В эту секунду Битов принял, как потом оказалось, единственно правильное решение – он резко кинул машину влево, и мы стали сваливаться по откос. Эти секунды отпечатались в моем мозгу как в замедленной съемке и запомнились навсегда. Мысль, как оказалось, вспыхивает быстрее любого окружающего нас действия. «Так вот оно как!» – пробежало в моей голове. Когда мне было девятнадцать, я сказал одной пристававшей цыганке, что хорошо ей заплачу, если она не будет говорить всякую благоприятную чушь, а назовет возраст, в

котором я покину этот мир. И тогда, к моему изумлению, она, пристально смотря мне в глаза и держа меня за руку, сказала, что это будет в тридцать три года. Я, конечно, посмеялся над прорицанием, но когда мне исполнилось тридцать два, иногда стал вспоминать цыганку. И во время нашего путешествия мне как раз шел тридцать третий год. После броска с откоса наша машина полностью перевернулась по своей оси и, вновь встав на колеса, уперлась бампером в небольшое деревце. Андрей, замедленным движением убирая со своего лица осколки ветрового стекла, произнес, не оборачиваясь: «Живы? Все живы?» И хотя немедленного ответа не последовало, мы ощутили постепенно возвращающуюся радость жизни – все мы были не только живы, но и без видимых ранений, лишь Олино лицо было слегка поцарапано осколками стекла. Как оказалось впоследствии, всё это приключение перенес и наш с Еленой сын Виталий, который в тот момент существовал еще на стадии эмбриона.

Когда в июле 1991 года на Двенадцатый впервые приехал известный фотокорреспондент Юрий Рост (второе посещение, вместе с журналисткой Натальей Геворкян, было в следующем году), то в нашей книге посетителей появилась его любопытная запись: «... Вы давно вошли в мою жизнь как литературные герои Андрея и были любимы. Теперь, побывав здесь, я убедился, что хорошие люди и хорошая литература могут соседствовать реально...»

С Битовым связано и наше знакомство со скандально известным писателем Юзом Алешковским. Однажды, будучи в Москве, мне зачем-то понадобилось навестить Олю Шамборант. С трудом разыскав квартиру Битовых во втором микрорайоне Теплого стана и позвонив, я очутился среди нагромождения висящих всюду пеленок, разбросанной одежды, обуви и больших и маленьких коробок. Эта картина сопровождалась хныканьем младенца, несущимся отовсюду запахом чего-то кислого и какими-то извиняющими словами хозяйки дома, счастливой матери Ивана Битова. Ольга тут же представила меня находившемуся в квартире плотному лысоватому мужику, который в первой же фразе во время знакомства сумел вставить два матерных слова, а в последующих его фразах таких слов было значительно больше, чем обычных. Это и был Юз Алешковский, советский писатель, лауреат премии Ленинского Комсомола и бывший эзк, незабвенный автор знаменитых слов известной эзковской песни: «Товарищ Сталин, вы большой ученый и всех наук вы главный корифей, а я простой советский заключенный, не коммунист и даже не еврей». В последующий год Алешковский приехал на Куршскую косу, и, по рассказу Дольника (меня в это время не было), общаясь с ним в обществе нескольких бутылок, так разгорячился, что когда Дольник пошел его провожать на автобус в Калининград, то их обоих нещадно поколотили местные парни, не выдержавшие такого напористого поведения, а главное, столь художественно исполняемого мата. Спустя некоторое время в руках орнитологов появились и рукописные варианты непечатных произведений этого «матерого человечика», читая которые, девушки иногда просили объяснить ряд использованных терминов, представленных в народно-матерной форме великого и могучего, истинно русского языка.

Количество немецких туристов, посещающих теперь Куршскую косу, почти не поддается учету, хотя в основном они прибывают на экскурсионных автобусах. Многие из них приезжают просто

посмотреть на свою родину, которую оставили совсем маленькими детьми. Один из гидов с немецкой стороны оказался сыном бывшего директора Росситтенской станции Эрнста Шюца, который руководил станцией с 1933 года до ее ликвидации в связи с войной. Когда-то этот сын подростком бегал по дюнам косы, о чем свидетельствовали фотографии, привезенные им специально для нашей Биостанции.

По рассказам, одна весьма почтенная дама долго рыдала, обняв порог одного из рыбацких домов, где она родилась. Поначалу немецких туристов возили и на старое немецкое кладбище на окраине Рыбачьего, где остались лишь две сохраняемые могилы – могила основателя орнитологической станции Иоганнеса Тинеманна и могила знаменитого лесоведа Куршской косы Франца Эфы. Теперь же немецких туристов туда не возят – именно они, посетив расположенное рядом современное кладбище, обнаружили на свежих могилах гранитные плиты со старого немецкого кладбища, перерытого, разграбленного и уничтоженного.

Под не умолкающий шум моря и порывистые западные ветры, по единственной на Куршской косе дороге, узкой, с неожиданными поворотами, обсаженной бесконечными соснами, ежедневно проносятся огромные цветные автобусы, наполненные потомками тех, кто когда-то в латах, с копьями, неуклонно двигались здесь, свирепо уничтожая куршских аборигенов, и устремляясь дальше, в неизведанные земли враждебных чужих людей, поклоняющихся чужим богам...



На конференции 100-летия кольцевания птиц. Леонид Соколов с жаром пропагандирует российскую науку Кристоферу Перрину и Иэну Ньютону. Германия, Гельголанд, 1999.
Фото автора.

З И Н

Когда листья в Рыбачьем поблекнут
В ожидании безрадостных зим,
Мы спешим как паломники в Мекку,
В формалинный и чучельный ЗИН.
Мы приедем в наш город астральный,
Весь потертый от долгих потерь,
И у красной колонны ростральной
Мы откроем тяжелую дверь.
И ворвемся, как в диком набеге,
В нафталинную их благодать,
Где учтиво проходят коллеги,
Паганелей священная рать.
Где былых вдохновений кометы
Улетели во тьму навсегда,
Где в скрипучей тиши кабинетов
Как минуты, проходят года.

Ежегодно, в первых числах ноября, сняв ловушки и торжественно отметив завершение очередного полевого сезона большим спиртовым возлиянием, мы устремлялись в родной Питер, к полузабытым семьям и к уже непривычной суете обычной городской жизни. Чаще всего мы передвигались поездом или самолетом, но были и такие периоды жизни Биостанции, когда поездка превращалась в долгое и сначала увлекательное, а к концу его и чрезвычайно утомительное путешествие на собственном станционном автобусе. Разбитые, небритые и невыспавшиеся, с огромными рюкзаками, ящиками и пакетами с рыбой уже не самой первой свежести, мы вваливались в наши стандартные, как пчелиные соты, советские квартиры в «спальных» районах города, попадая в радостные (чаще всего) объятия всех домочадцев.

А уже в следующие дни мы направлялись в отделение орнитологии нашего «музейного» Зоологического института, где, хотя и пребывали в течение зимы, однако далеко не каждый и далеко не весь рабочий день. Проталкиваясь через толпы рассеянно внимающих экскурсоводам посетителей, проходя мимо знаменитого скелета синего кита в первом музейном зале и поднимаясь по очень удобной широкой лестнице (с невольнo пробуждающимся чувством собственного достоинства), или же пробираясь по полутемному подвальному этажу мимо обиталищ таксидермистов и возле всяких складских каморок (без всякого намека на вышеозначенное чувство), мы попадали, наконец, в верхний длиннющий слепой коридор.

Этот коридор, насквозь пропахший нафталином, с табличками имен сотрудников и групп исследуемых ими животных, упирается в ничем не выделяющуюся среди прочих, непрезентабельную

дверь нашей знаменитой зиновской библиотеки, самой крупной зоологической библиотеки страны. Вдоль всего коридора, в кабинетах и за тесно поставленными столами между коллекционных шкафов обитают сообщества энтомологов, териологов, гидробиологов и орнитологов, и здесь же хранятся их необъятные коллекции, источающие столь родные запахи, что ради них сюда навещаются и отечественные, и многие иностранные биологи. Сколько я помню себя в Зоологическом институте, по коридору всегда бесконечной вереницей двигались в разных направлениях наши коллеги самого разного вида и возраста, не говоря уже о специальности и статусе в науке. Часто проходил очень приветливо здоровавшийся (всегда со всеми, без исключения) Александр Стрелков, задумчиво двигалась худая, в свободном свитере, высокая фигура Изяслава Кержнера, блестящего знатока всего свода принципов зоологической номенклатуры, энергично шагал Илья Даревский, получивший широкую мировую известность открытием однополого размножения у ящериц и роли полиплоидии как фактора видообразования, проходил внимательно взглядывающийся в сотрудников Николай Верещагин, один из самых старейших зоологов, видный специалист по мамонтам (единственный из членов Ученого совета, кто на моей защите докторской диссертации задал вопрос по существу дела), появлялся энтомолог Михаил Козлов, написавший огромное количество всяких популярных книг и, вместе с Виктором Дольником, учебников зоологии, и Виталий Танасийчук, тоже весьма склонный к популяризации биологических истин. С неизменно приветливыми улыбками здоровались часто проходящие мимо добродушно-озабоченная Татьяна Лукина, внимательная Эмма Егорова, радостно-деловая Людмила Гроздилова и всегда очаровательно улыбающаяся Татьяна Кониная. А в последнее время регулярно мелькает совершенно бесцельно, но быстродвигающаяся фигура бородатого Кирилла Городкова, уже окончательно забывшего имена и своих бывших соратников, и своих привычных объектов исследования.

Орнитологи в ЗИН'е составляют лишь часть давным-давно объединенной лаборатории орнитологии и герпетологии, хотя и по сути всей работы, и по территориальному признаку в пределах института, они практически самостоятельны. Появившись впервые в 1961 году в святая святых отделения орнитологии, где окна выходят на башню Кунсткамеры, возле коллекционных шкафов, где одних только птичьих шкур (тушек) было более 170 тысяч, не считая скелетов, спиртовых препаратов, а также гнезд и яиц, я ясно ощущал мистическое присутствие великих предшественников, находившихся в этих помещениях, приспособленных для коллекций с 1912 года – и работавшего с особой академической тщательностью Валентина Бианки, первого из зоологической династии Бианки, и широчайшего эволюциониста не только в орнитологии Петра Сушкина, и Аркадия Тугаринова, первого из орнитологов института, детально интересовавшегося миграциями птиц. В шестидесятые годы в Отделении работали их звездные ученики, составившие цвет орнитологической науки, начиная с тридцатых годов, – Елизавета Козлова, выдающийся специалист по формированию авифауны, автор многих монографий и томов фауны, изъездившая в свое время всю Монголию, отличавшаяся громкой интеллигентной речью с властными интонациями; Александр Иванов, руководитель Отделения, в беспрестанных экспедициях объездивший за свою жизнь всю советскую империю и сопредельные страны, человек спокойный, говоривший тихо, но беспрестанно



Леонид Портенко. Зоологический институт, 1950-е годы.



Елизавета Козлова и Борис Штегман. Ленинград, 1958.

находившийся в движении; а также круглолицый и громогласный, всегда оптимистично-деятельный Леонид Портенко, тоже совершивший массу экспедиций, автор книг о птицах северо-востока Азии (по словам Юдина, больше любивший тушки, чем живых птиц), и, наконец, Борис Штегман – решительный и бескомпромиссный, бывший в своей далекой молодости кавалеристом Красной

Армии, широко известный в мире своим учением о типах и истории формирования фауны Палеарктики. Мне довелось присутствовать при последних этапах подготовки к печати Ивановым и Штегманом первого издания «Краткого определителя птиц СССР», вышедшего в 1964 году и получившего у орнитологов прозвище «зеленого определителя» по цвету его обложки. Обсуждая с Ивановым рукопись, отредактированную редактором издательства «Наука», Борис Штегман яростно кипятился, требуя оставить без внимания все поправки, и кричал: «Нечего лезть в чужую область, не ее собачье дело о птицах знать!»

С 1969 по 1976 год Отделением руководил Константин Юдин, блестящий специалист в филогении и систематике, обосновавший новые подходы в области исследования функциональной морфологии птиц. Художавый, аскетического вида, с уравновешенным характером и особой, вдумчивой манерой беседы, Юдин беспрестанно курил, долгими часами не покидая своего места в кабинете. Его ученица и аспирантка с 1967 года Людмила Фирсова, рыжеволосая хрупкая женщина небольшого роста, специализировалась по чайкам, и после аспирантуры работала на Дальнем Востоке, став сотрудником Отделения только с 1974 года. С волевым характером, умеющая отстаивать свои интересы, Фирсова неоднократно практически в одиночку предпринимала очень трудные дальневосточные экспедиции, начиная с Командорских островов.

Ирэна Нейфельдт, в шестидесятые годы более молодая из сотрудников Отделения, наряду с высоко профессиональной работой, отличалась несгибаемой решительностью во всех своих действиях, начиная с походки и кончая чрезвычайно критическим отношением к коллегам, высказывая свое мнение в особой, только ей свойственной нелестной форме, что, разумеется, не способствовало какому-либо дружескому с ней общению. Испытавший на себе, как и все, это отношение Борис Некрасов, долго проработавший в Отделении, но уже давно перешедший трудиться сначала в БАН, а затем в нашу зиновскую библиотеку, всегда аккуратен во всей своей подтянутой фигуре и внешности, и в своей безупречно правильной речи. Он поражал меня этой особой аккуратностью во всех сторонах своей деятельности - и в исследованиях челюстного аппарата вьюрковых птиц, и в долгих и тщательных приготовлениях к экспедициям (по специальному заказу делались даже колышки для закрепления палаточных растяжек).

Были в Отделении и постоянные лаборанты, весьма уже зрелого возраста, сначала весьма интеллигентная Ирина Кюршнер, к которой прибегали сотрудники чуть ли не всего института для консультаций по текстам на французском, а потом безотказная трудяга Маргарита Ягунова, которую сменила уже упоминавшаяся хлопотливая Елена Орлова-Шаповал. В разное время в Отделении работали и молчаливый Евгений Шутенко, увлекавшийся изучением жизни обычной и всегда находящейся перед глазами, но неисследованной городской вороны, и порывистый Герман Караваев, теперь живущий в Германии как прогрессивный русский художник, и Юрий Стариков, с



Константин Юдин

благообразной внешностью молодых интеллигентов прошлого века, который предпочел сменить этаж и перебрался из Отделения орнитологии в музейную группу таксидермии. Не вошли в состав Отделения и навсегда осели в музее и орнитолог Сергей Баккал, любитель Лапландского и Кандалакшского заповедников, где предпочитает проводить все полевые работы, и Елена Павлова, называемая всеми Алёной, с улыбочиво-привлекательной внешностью и с орнитологическими интересами, ставшая весьма известной в Питере из-за своего звездного участия в детской телевизионной передаче «Ребятам о зверятах».

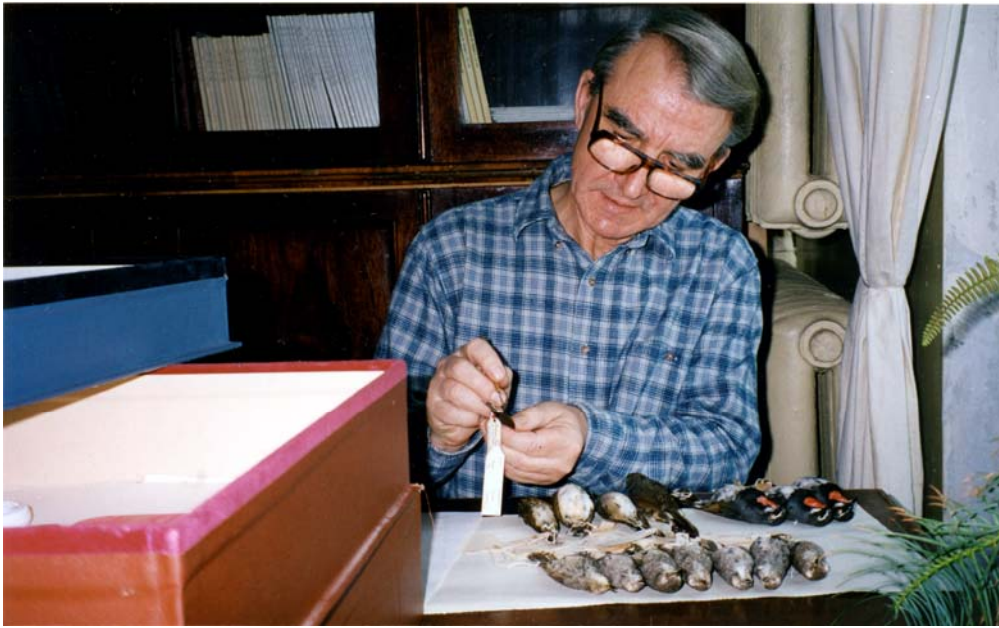
Владимир Лоскот, бывший киевский орнитолог, специалист по таксономической оценке внутривидовой изменчивости, особенно в группе чеканов и каменок, изучавший редкие виды певчих птиц в труднейших горных и пустынных районах, появился как сотрудник Отделения в 1974 году, а уже с 1976 года стал им руководить на правах куратора. Крайне принципиальный в отстаивании своих убеждений и интересов, весьма критически читающий почти все работы коллег, Лоскот отличается очень ревностным отношением к коллекциям, вообще не допуская к ним сомнительных, по его мнению, личностей, а иногда и проявляя явно выраженную, но для окружающих необъяснимую нетерпимость, что иногда приводит к ситуациям, близким к конфликтным. Его невероятная тщательность в собственных исследованиях приводит к почти постоянной нехватке времени при каких-то срочных работах. Его аспирантка Ксения Далецкая, впервые появившаяся в Отделении несколько лет назад, принадлежит к тем, кто в большей степени, чем с собственно наукой, с детства не мыслит себя без теснейшего общения с животными.

Одно из эпохальных деяний, связанных с именем Лоскота, - полное обновление половины коллекционных шкафов для хранения шкурок, что, наконец, резко снизило уровень ежедневного одурманивания сотрудников, постоянно работающих возле этих шкафов. Большую техническую помощь в этом оказывал Лоскоту Владимир Храбрый, человек легкого характера, быстро сходящийся с людьми и способный всё достать и все вопросы уладить. В его личности странным образом сочетаются вещи несочетаемые. С плотной коренастой фигурой, но с быстрой походкой, не хватающий звезд ни в науке, ни на литературном поприще, но при этом опубликовавший много методических и популярных книг и брошюр, Храбрый с самой молодости самозабвенно занимается охотой и в последнее время состоит председателем одного из охотничьих обществ. Объездивший всю Ленинградскую область не только с охотничьими, но и с орнитологическими интересами, он тем не менее, занимается изучением птиц города. По своей активности, мобильности и всяческим связям Храбрый чем-то напоминает «нового русского», но при этом остается очень доброжелательным и столь же материально нуждающимся, как и все мы, навсегда связавшие свою жизнь с нашей наукой.

Один из случаев с Владимиром Храбрым, отнюдь не из обихода охотничьих рассказов, хорошо запомнился мне своей яркой картиной некоторых будней зоологов. Было это во второй половине марта 1984 года, когда четверо сотрудников института – Евгений и Александр Соколовы, Алексей Тихонов и Храбрый занимались учетом глухариных токов в Бокситогорском районе, вблизи деревень Прокушево и Лахта. Живя в Лахте, они ходили в длительные маршруты для регистрации известного глухариного «черчения» на снегу. Стоял классический март, когда ночью температура опускалась до



Людмила Фирсова. Зоологический институт, 2000. Фото автора.



Владимир Лоскот. Зоологический институт, 2000. Фото автора.

минус десяти, а солнечными днями повышалась до плюс двух, а поэтому поутру они шли к месту учета без лыж, по твердому насту, а возвращались днем уже на лыжах, так как снег человека уже не держал. В тот день Храбрый ушел километров на 12 километров к северо-западу, к границе с Тихвинским районом, и когда стал возвращаться, то сумел пройти лишь четыре километра, как одна лыжа треснула и развалилась. Осмотрев лыжи, он убедился, что идти более на них невозможно – они совершенно стерлись. Снег в таких условиях превращается в так называемый «фирн», твердый, с остро торчащими отдельными льдинками, и от лыж за несколько дней остаются тоненькие пластинки. Пришлось идти пешком, если это можно было назвать ходьбой. Снега было по пояс, и каждый шаг давался с невероятным трудом. Несмотря на тогдашнюю свою молодость, ему каждые четверть часа приходилось отдыхать. Самое трудным оказалось вылезать из оврагов, куда он скатывался от полной потери сил. В один из моментов напоролся и на бурелом со свежими следами медведя, и пришлось долго обходить это место. Когда начало вечереть, его стали одолевать совсем невеселые мысли и вспоминаться похожие случаи с далеко не счастливым концом. Кроме небольшого ножа, у него не было ничего, даже спичек, поскольку его угораздило незадолго до этого бросить курить. И только когда он отчаянно одолевал последний километр, услышал голоса своих друзей – они уже вышли его искать.

Ряды корифеев Отделения постепенно редели и исчезали, а их ученики и вновь пришедшие лица неумолимо старели. К концу двадцатого века лишь трое сотрудников находились в расцвете своих физических и творческих сил, и именно они могли бы составить светлое будущее Отделения орнитологии. Это были Евгений и Александр Соколовы и Андрей Пантелеев. Но наступившие в России новые времена стали вносить свои неожиданные и кардинальные изменения в оптимистические жизненные планы двух из них. Александр Соколов, активно работавший под кураторством Лоскота специалист в области изучения морфологии птиц, защитивший кандидатскую

диссертацию по филогении трубконосых под руководством известнейшего птичьего морфолога Феликса Держинского, вдруг понял, что эта наука не дает ему возможности нормально жить и содержать семью, и покинул институт ради более прибыльного дела, связанного с коммерческой таксидермией. Он объединился с Владимиром Сухаревым, который основал известную в городе «Студию таксидермии» (однажды в 1980 году, приехав на Куршскую косу, Сухарев совершенно сразил меня своим высоким искусством чучельника), и теперь некоторые их работы удостаиваются на международных выставках высоких призовых мест. Именно на освободившееся место Александра Соколова и перебрался в Отделение автор этих строк, продолжая однако заниматься теми же проблемами, что и раньше, то есть связанными с экологией популяций, демографией и птицами над Куршской косой. Виктор Дольник осуществил этот переход в Отделение значительно раньше, вскоре после своего ухода с поста директора Биостанции, занявшись в последние годы, с одной стороны, популяризацией этологии и экологии человека как биологического вида, а с другой стороны – эффектными теоретическими построениями в области реконструкции биоэнергетики птерозавров.

Евгений Соколов, в отличие от своего однофамильца, с наукой не только не расстался, а укрепил в ней свои позиции, но занявшись ею уже не в родном Отделении, а в хорошо оснащенных лабораториях северной Германии. Выделяющийся громовым властным голосом, обожающий сатирически изобразить в лицах всех персон, к которым, мягко говоря, не лежит его сердце, Евгений отличается острым умом, решительным характером и совершенно уникальными (для орнитолога) способностями, как во многих технических областях, включая искусство чинить компьютеры, так и в молекулярных областях биологии, включая генетические исследования на орнитологическом материале. Таким образом, из всех троих реальной надеждой Отделения остается Андрей Пантелеев, немногословный и не очень заметный в институте, но крайне упорно и с полной самоотдачей занимающийся палеорнитологией Азии и путями формирования орнитофаун, находящий всякие возможности выезжать в экспедиции даже в наше трудное время.

На протяжении долгих десятилетий орнитологи-систематики продолжали увлеченно обсуждать статус и разнообразие разных групп птиц, самозабвенно раскладывая и перебирая тушки, а могучие свинцово-черные невские воды бесконечно и мрачно двигались и двигались мимо института. Влажными декабрьскими ветрами над Дворцовым мостом неумолимо пролетали годы. Наступившие новый век и новое тысячелетие одним своим появлением уже отодвинули в далекое прошлое многое, казавшееся только вчерашним. Невозможно предугадать, что ждет орнитологию в будущем. Единственное, в чем можно быть твердо уверенным – в неиссякаемом интересе к птицам новых поколений людей, многие из которых всю жизнь будут фанатически преданы своему делу.

Санкт-Петербург, октябрь 2000 – март 2001.

**Популярная, художественная и мемуарная литература о Vogelwarte Rossitten и
Биологической станции в Рыбачьем**

(что удалось найти)

Книги, журналы, брошюры

- Johannes Thienemann. Rossitten. Drei Jahrzehnte auf der Kurischen Nehrung. Neudamm, **1926**.
- Ernst Schüz. Johannes Thienemann zum Gedächtnis. J. f. Ornithologie, **1938**, Bd. 86, S. 466-483.
- И. Штейнбахер. Перелеты птиц и их изучение. ИЛ, **1956** (в оригинале: J. Steinbacher. Vogelzug und Vogelzugforschung. Frankfurt a. M., **1951**).
- Gerhard Creutz. Geheimnisse des Vogelzuges. Die Neue Brehm-Bücherei. A. Ziemsen Verlag. Wittenberg Lutherstadt, **1954**.
- Lew Belopolskij. Aus der Arbeit der Biologischen Station in Rybatschij. Der Falke, **1961**, Bd. 8, N 11.
- Владимир Митин. На мостике Фрингиллы. Отчего вода в море соленая. Журнал «Крокодил», **1964**, декабрь, N 35.
- Андрей Вознесенский. Нидская биостанция. В книге «Ахиллесово сердце». «Художественная литература», **1966**.
- В.Р. Дольник. Таинственные перелеты. М., «Наука», **1968**.
- Hans Bub. Vogelfang und Vogelberingung. Teil IV. Die Neue Brehm-Bücherei. A. Ziemsen Verlag. Wittenberg Lutherstadt. **1969**.
- Георгий Метельский. Птичий аэродром. 1) Журнал «Звезда», **1969**, N 2. 2) В книге:
Г. Метельский. «Янтарный берег», М., «Мысль», **1969**.
- Н. Храброва, И. Тункель. Горсть янтаря. Журнал «Огонёк», **1969**, октябрь, N 43.
- Марк Баринов. Журнал «Смена», **1970**, декабрь.
- Владимир Кудинов. Журнал «Неман», **1971**, N 4.
- Андрей Битов. Птицы, или Новые сведения о человеке. 1) Журнал «Аврора», **1976**, N 10, N 11.
2) В книге: Андрей Битов. Дни человека. Повести. М., «Молодая гвардия», **1976**.
- К. Левитин, Т. Чеховская. Фрингилла. Журнал «Знание-сила», **1976**, март.
- Маргарита Родионова. Летят перелетные птицы. Калининградское книжное изд-во, изд. 3-е, **1977**.
- Валерий Ильичев. Летят перелетные птицы. Журнал «Наука и жизнь», **1977**, N 12.
- М.Е. Шумаков, Н.В. Виноградова. Птичье эльдорадо Балтики. Калининградское книжное изд-во, **1979**.
- Андрей Битов. Воспоминание о Рыбачьем. Стихотворение, **1980** (рукопись, архив В.А.Паевского).
- А. Соснов. Колечко Фрингиллы. В книге: А. Соснов. Обретенная природа. Лениздат, **1982**.
- В. Дольник. Статьи прихода и расхода птичьей жизни. Журнал «Знание-сила», **1983**, февраль.
- Татьяна Буруковская. Куршская коса. Буклет. Калининградское книжное изд-во, **1987**.

- А.П. Дарьялов, Н.Ф. Марков. Куршская коса. Государственный природный национальный парк РСФСР. Изд-во «Калининградская Правда», **1989**.
- Michael Beleites. Professor Dr. Johannes Thienemann. *Mauritiana (Altenburg)*, **1989**, Bd. 12, N 2.
- Victor Dolnik ja Vladimir Payevsky. Rybatschi – lintuasema Itämeren etelarannalla. *Lintumies*, **1990**, N 3.
- Л.В. Соколов. Почему перелетные птицы возвращаются домой. М., «Наука», **1991**.
- E. Nowak. Lew Osipowitsch Belopolskij – 1907-1990. *Vogelwarte*, **1991**, Bd. 36, N 2.
- В.А. Паевский. Памяти Льва Осиповича Белопольского. Труды Зоологического института, СПб, **1992**, Т. 247.
- В. Паевский, Э. Голованова, М. Обухов, Ю. Павлов. Biological Station Rybachy on the Courish Spit. Буклет. «НАСА», Советск, **1993**.
- Андрей Битов. Птицы, или Оглашение человека. В книге: Андрей Битов. Оглашенные. Роман-странствие. СПб, изд-во Ивана Лимбаха, **1995**.
- Владимир Паевский. Грядущего серые совы. Лирика авгура. СПб, **1998**.
- Леонид Акципитер. Байки для посвященных. СПб, **1999**.
- Franz Bairlein. Hundert Jahre wissenschaftliche Vogelberingung: Rückblick – Einblick – Ausblick. *Der Falke*, **1999**, Bd. 46, N 9.

Газеты

- В. Дольник. Птичьи секреты. «Калининградская правда», 8 февраля 1962 г.
- В. Паевский. Для чего изучают перелеты птиц. «Ленинское знамя», 16 февраля 1962 г.
- И. Малев. Тайны пернатых путешественников. «Вечерний Ленинград», 20 апреля 1964 г.
- М. Каплин. Птица прокладывает курс. «Смена», 26 января 1965 г.
- Аноним. Пернатые навигаторы. «Ленинградская правда», апрель 1965 г.
- Юрий Грибов. Край заповедный. «Советская Россия», 30 апреля 1965 г.
- Oleg Karyshev. Travelling without visas. «Moscow news», 5 April 1965.
- О. Максимов. Куршская коса, 22-й километр. «Калининградская правда», 20 июля 1968 г.
- Г. Петров. У птичьего моста. «Правда», 4 января 1972 г.
- М. Шумаков. Птичий мост. «Калининградская правда», 20 мая 1972 г.
- М. Шумаков. Лесная хроника. Там же, 23 июня 1972 г.
- М. Шумаков. Тайны птичьих трасс. Там же, 13 октября 1972 г.
- М. Шумаков. Сегодня на косе. Там же, сентябрь 1973 г.
- В. Четкарев. Зяблик включает солнце. «Вечерний Ленинград», 6 декабря 1973 г.
- Н. Виноградова. Экскурсия на «Фрингиллу». «Ленинское знамя», 4 марта 1975 г.
- Н. Виноградова. В лесной лаборатории. Там же, июль 1975 г.
- М. Шумаков, Н. Виноградова. Первые впечатления. «Калининградская правда», 7 мая 1976 г.
- Н. Виноградова, М. Шумаков. Солнце в зеленых кружевах. Там же, 13 мая 1976 г.

Н. Познанский. Строптивая Кора. Там же, июль 1976 г.
М. Шумаков. Спящая коса. Там же, 28 января 1977 г.
М. Шумаков. Разыскивается ворон. Там же, 3 марта 1977 г.
Аркадий Соснов. Колечко «Фрингиллы». «Смена», 2-9 июля 1978 г.
Н. Виноградова. На Куршской косе. «Калининградская правда», 14. мая 1981 г.
В. Плешевеня. Жемчужина Прибалтики. «Известия», сентябрь 1981 г.
Л. Круглов. Птичий мост. «Сельская жизнь», 15 мая 1985 г.
Э. Жигайлов. Горячая пора. «Правда», 19 октября 1989 г.
Алексей Гориченский. Ловец драконов. «Невское время», 4 марта 2000 г.